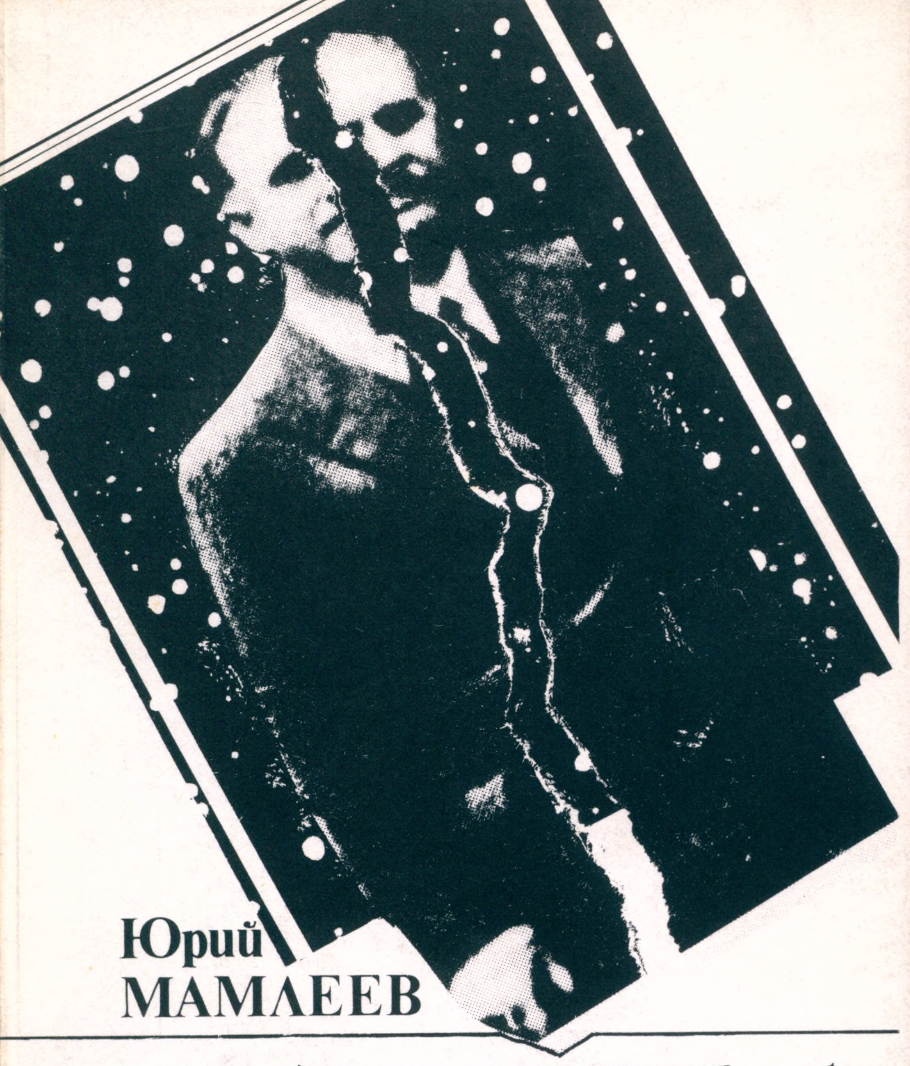


Юрий
МАМЛЕЕВ

ИЗНАНКА ГОГЕНА

ЮРИЙ МАМЛЕЕВ

ИЗНАНКА ГОГЕНА

РАССКАЗЫ

Издательство
"Третья волна"

Париж — Нью-Йорк
1982

Редактор А. Глезер
Корректор Т. Доброва
Обложка художника Григория Капеляна

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В нонконформистской московской среде трудно, пожалуй, было найти человека незнакомого с творчеством Юрия Мамлеева. Его рассказы, бросающие читателя в трагический, сюрреальный, лишенный духовности мир, уродливые и фантастические, но в то же время убедительно выписанные персонажи его произведений никого и никогда не оставляли равнодушным. Кто-то плевался, кто-то восхищался, но так или иначе, расходились рассказы Мамлеева по советской столице, уверенно плыли по каналам Самиздата (а ведь то, что того не стоило и никому нужно не было Самиздат безжалостно отвергал, то есть не распространял – и все), появились у Мамлеева не только поклонники (и многочисленные), но и ученики и последователи, которые и по сей день остаются в СССР и пишут и порой пересылают свои рассказы и повести на Запад. И до сих в Москве на частных квартирах собираются любители творчества этого своеобразного писателя и слушают его рассказы в магнитофонных записях, не случайно оставленных там, в России, самим Мамлеевым. Не случайно, потому что для него важно, чтобы его литературная жизнь продолжалась на Родине, а не только на Западе.

Альманах "Третья волна" не раз публиковал рассказы Юрия Мамлеева исходя только из одного критерия – безусловной талантливости автора. Сейчас издательство "Третья волна" выпускает его первую на русском языке книгу. Все вошедшие в нее рассказы написаны в Москве. А предваряет книгу статья известного американского писателя, профессора английской литературы Джеймса МакКонки. Статья эта была напечатана в американском журнале "Эпоха" и посвящена вышедшей в США книге Юрия Мамлеева "Небо над адом". Американский писатель сумел и разобраться в фантасмагорической книге Мамлеева, и разыскать истоки его творчества. Мне лишь хотелось бы добавить, что творчество Юрия Мамлеева связано, по-моему, не только с Достоевским и Гоголем, но и с советской действительностью – с ее сюрреальностью, абсурдностью и безысходностью, с новым типом человека – гомо советикус, лишенного нравственных ценностей и веры в Бога.

Александр Глезер

"НЕБО НАД АДОМ" ЮРИЯ МАМЛЕЕВА

Юрий Мамлеев, русский, живущий сейчас в этой стране (два его рассказа появились в журнале "Эпоха"), – один из тех писателей, которых советская бюрократия рассматривает как "диссидентов" или как "западных декадентов" и чьи работы в России распространяются путем Самиздата. Может быть, он чувствует себя совсем дома в США, в этом очаге западного декаданса, и вполне верно, что он разделяет с некоторыми американскими писателями убеждение, что современный мир должен быть интерпретирован более странно и сюрреалистично, чем позволяют наши обычные представления о реальности.

Читатели, знакомые с произведениями Барта и Бартелме (хотя совершенно очевидно, что Мамлеев отличается от них, так как он писатель целиком русский в его поглощенности своими персонажами как манифестацией проблем человеческой души) должны знать: творчество Мамлеева связано с Достоевским и Гоголем. Его интересует мир, который потеряв религиозные и метафизические ценности, становится бессмысленным. В некотором отношении недостающим звеном в этих рассказах является Христос: лишенные Его примера, герои Мамлеева обращены целиком внутрь, на себя.

В рассказе "Последний знак Спинозы", которым открывается "Небо над адом", первая книга Мамлеева на английском языке, Неля Семеновна, доктор, чувствует, что "чем бессмысленнее и вне обычных рамок она видит мир..., тем ближе она к Богу и к истине послесмертного бытия". Как и большинство основных героев в этих

рассказах, духовные стремления Нели, лишенные всего внешнего для нее, упорно используются ею для усиления чувства бессмысленности. "Неужели уж тебе не приходило в голову, что добро и зло – второстепенные предметы в мире, сопутствующие проблемы, а высшая цель – совсем в другом: в более глубоком?" – спрашивает она своего пациента, который стал ее любовником, и который убежден, что в прошлой жизни он был Спинозой и что человечество откроет через познание, что мир – справедлив. "Эта цель, – продолжает она, – связана с расширением самобытия, самосознания". Неля, чье обжорство носит "экзистенциальный характер", чересчур сконцентрирована на своих умирающих пациентах – но не для того, чтобы спасти их, а для того, чтобы приобрести это "расширение" и "самосознание" через ощущение абсурда болезни и смерти – так что она теряет в конце концов это свое перевоплощение Спинозы и удовлетворение от соития с таким безумцем: "и еще ей было приятно сознание того, что ее дерет самый настоящий олигофрен, как будто сперма от этого становится чернее и наслаждение крепче".

Сборник заканчивается романом (изданным в сокращенном виде) "Шатуны", чей главный герой охвачен похожей манией по отношению к умирающим; но в "Шатунах", однако, герой – не врач, а убийца, который надеется соощутить и понять души своих жертв в момент их гибели. И в этом далеко идущем произведении еще более очевидно, чем в других рассказах, что Мамлеев описывает духовную болезнь, которая разрастается за счет каждого указания о пустоте жизни и смерти. В этом произведении солипсизм получил свое крайнее выражение во второстепенном герое, Петеньке, который существует временами только за счет поедания собственной плоти, и который умирает в попытке найти абсолютную пищу в собственном теле. Федор, убийца, завидует этому самопожирателю, как будто Петенькино самоуничтожение выше, чем акты убийств, совершаемые Федором. "Далеко, далеко пойдет Петя... в том мире, – с пеной у рта бормотал Федор. – Это не то, что других убивать... Сам себя родил Петя".

В "Шатунах" даже самый внешне добродетельный и благочестивый герой (старик, чье сострадание к окружающим дало ему ряд последователей) исповедует христианство только из чувства эгоизма и страха. Когда же он заболевает, страх перед смертью овладевает им до такой безумной степени, что он начинает верить, что он превратился в курицу, и прыгает, следуя за настоящими ку-

рицами, чтобы отведать их корм. Линия главного героя – убийцы, бродящего за жертвами в отдаленном лесу и в предместьях Москвы, дает возможность автору в рамках своего повествования исследовать мир, превращенный в бесплодную пустыню и ужасающий своей лишенностью всякой духовной веры, которая опиралась бы на человеческую общность.

Единственный американский писатель, который, хотя бы отдаленно напоминает Мамлеева, это Фланнери О'Коннор. Ее убийца из "Трудно найти хорошего человека" в некоторых чертах напоминает Федора; Достоевский же дал общего предка для обоих убийц. Как и Мамлеев, О'Коннор использует юмор и изображение насилия в метафизических целях; она также касается проблем солипсизма, который выдает себя за духовную проницательность, извращая ее. Но мир О'Коннор – это все еще мир распознаваемого географического региона, и ее герои, каков бы ни был уровень пародии в их конструкции, распознаваемые человеческие типы. Мамлеевская же окружающая обстановка и ее характеристики – гораздо более сюрреальны, как будто земля превратилась в ад без осознания людьми, что такая трансформация имела место. Его рассказы – это метафорическое изображение наших духовных бедствий. Произведения Мамлеева наводят на мысль, что наше неверие в христианство и в концепцию Божественной справедливости настолько глубоки, что – даже хотя мы можем кукарекать наподобие домашней птицы, убивать друг друга в безнадежной попытке заработать личное спасение, пожирать собственную плоть, или упрямо повторять любое действие, которое усиливает наше чувство бессмысленности – мы не отдаем себе отчета в том, что в настоящее время мы, люди, просто подвергаемся страданиям проклятых и отверженных. Виденье, лежащее здесь в основе, – религиозное; и комедия этой книги – смертельна по своей серьезности.

Джеймс МакКонки

ИЗНАНКА ГОГЕНА

Молодому, но уже известному в научных кругах математику Вадиму Любимову пришла телеграмма из одного глухого местечка: умирал отец. Любимов, потускнев от тоски, решился поехать, взяв с собой жену – Ирину. В поезде он много курил и обдумывал геометрическое решение одной запутанной проблемы.

Сошли на станции тихим, летним вечером; их встречала истерзанная от слез и ожидания семнадцатилетняя сестра Любимова Наташа, – отец в этом городе жил одиноко, только с дочкой. Сухо поцеловав сестру, Вадим пошел вместе с ней и женой в невзрачный, маленький автобус. Городок был обыкновенный: низенькие дома, ряд "коробочек", дальние гудки, лай собак.

Люди прятались по щелям. Но в автобусе до Вадима долетела ругань. Ругались одинокие, шатающиеся по мостовой фигуры. Несколько женщин неподвижно стояли на тротуаре спиной к ним.

Вскоре подъехали к скучному, запустелому домику.

Ирина была недовольна: успела промочить ноги. Наташа ввела "гостей" в низенькие комнаты.

Опившийся, отекший врач сидел у больного. Увидев вошедших, он тут же собрался уходить.

— Что возможно, я сделал. Следите за ним, — махнул он рукой.

Матвей Николаевич — так звали умирающего — был почти в беспамятстве.

— Ему еще нет и шестидесяти, — сказал Вадим.

Ирина плохо знала свекра, ее напугала его вздымающаяся полнота и странный, очень живой, поросячий хрип, как будто этот человек не умирал, а рождался.

— Отец, я приехал, — сказал Вадим.

Руки его дрожали, и он сел рядом.

Но отец плохо понимал его.

— Наташенька... Наташенька... молодец, ухаживала, — хрипел он.

— Ты как мужчина будешь спать с отцом в одной комнате, — заявила Ирина.

Вадим первый раз пожалел, что он мужчина. Ночью Матвей не раз приподнимался и, голый, сидел на постели. Он так дышал, всем телом, что казалось, впитывал в себя весь воздух. Он действительно раздулся и с какой-то обязательной страстью хлопал себя по большому животу; делал он это медленно, тяжело, видно, ему трудно было приподнимать руку; часто слезы текли по его лицу; но он уже ничего не соображал.

Наконец, Матвей Николаевич грузно плюхнулся на бок; и вдруг Вадим услышал, что он запел; запел как-то без сознания, вернее, заныл, застонал что-то свое, похожее на визг резаной свиньи. Но только не с предсмертной истерикой, а с небесными оттенками; в этом поющем визге чудилось даже что-то Баховское.

Вадим встал посмотреть, в чем дело, но когда подошел, отец был уже мертв.

Везде стало тихо.

Наутро Ирина сказала про себя: "Быстро отделались". Наташенька плакала.

– Останемся здесь на несколько дней, – решил Вадим. – Успокоим сестру. Может быть, удастся взять ее в Москву.

Похороны прошли быстро, бесшумно, как полет летучей мыши. Земля на могиле была красная, мокрая и такая, точно ее месили галошами.

В доме Матвея Николаевича стало еще проще; одна Наташенька рыдала; Вадим слегка напрягая волю, уже занимался своими вычислениями и про себя очень гордился этим. А Ирина даже на похоронах вязала кофту.

Так прошло три дня.

А поздно ночью в комнату, где спала Наташенька, кто-то постучал; дверь приоткрылась, и вошел Матвей Николаич, ее отец.

Когда Наташенька очнулась от обморока, он сидел на кровати и гладил ее белой рукой по голове.

– Я жив, дочка, – сказал он, глядя прямо на нее отсутствующими глазами. – Это был просто летаргический сон. Видишь, я только сильно похудал.

– Папочка, как же ты вышел из могилы, – еле выговорила она.

– Сразу же выкопали, дочка, выкопали. Произошла ошибка. Я был в больнице, – каким-то механическим голосом произнес Матвей Николаич. – Ты не бойся. Вот я и похожу.

И он, приподнявшись, неуверенно, как будто глядя на невидимое, прошелся по комнате, но как-то нечеловечески прямо, никуда не сворачивая.

– Я Вадю разбужу, пап, – пискнула Наташа.

— Разбуди, доченька, разбуди, — спокойно ответил старик.

— Вадя, папа пришел, — улыбнувшись, проговорила Наташа, вбежав в комнату Вадима. Ирина крепко спала.

— Ты что, рехнулась, Наташ, — произнес Вадим, спокойно позевывая.

— Пойди посмотри. Видишь, я сейчас заплачу.

— Э, да тебя трясет. Придется лекарство дать.

Вадим, поискав спички, чтобы закурить, пошел через коридор в Наташину комнату. Сестренка за ним.

Матвей Николаич стоял у окна и ничего не делал; не двигался с места, как статуя.

— Папа... ты!!.. — заорал Вадим, и у него начались судороги.

Он не верил даже в существование галлюцинаций; поэтому он видел то, что — по его мнению — невозможно увидеть; это был почти шок.

Стало выводить его из этого состояния неоднократно повторенное объяснение, которое ровным ледяным голосом давал отец.

— У меня был летаргический сон. Произошла ошибка. Меня сразу же откопали, — повторял он.

Слова "летаргический сон", употребляющиеся в науке, оказали почти магическое воздействие на Вадима; он приходил в себя; лишь щека подергивалась.

— Ну, мы так рады за тебя, папа, — проговорил он наконец, словно опоминаясь. — Пойдемте к столу... Наташа, надо бы выпить за папино выздоровление.

Наташа быстро вышла в сад, где погреб, за вином.

Вадим, смущенный, стоял у стола; отец был рядом; лунный свет падал на него.

— Это так неожиданно, — теребя сам не соображая что, бормотал Вадим. — Признаюсь, я ничего не смыслю

в медицине... Тебя так глубоко закопали... Я математик... Кривизна поверхности...

— Подойди ко мне, сынок, — перебил его старик, правда, без интонации. — Мне было так страшно... Дай, я тебя поцелую.

... Наташенька, взяв из погреба вино, уже подходила к двери своей комнаты, когда вдруг услышала дикий вопль. Сомнамбулически, уронив вино, Наташа бросилась в комнату.

Вадим валялся на полу, а старика нигде не было; Наташенька подбежала к брату; лицо его исказилось, и он прижимался к сестриным ногам; рука металась.

— Он укусил меня, — прошептал Вадим.

Сквозь стон и непонимание Наташа различила, что отец приник, как будто целуя, к голому плечу Вадима; но потом разом впился и укусил его, злобно и непонятно; Вадим от необъяснимости всего этого заорал и стал дергаться, а старик вдруг выпрыгнул в окно.

— Это не он; отец ведь никогда не прыгал в окна, — бормотал Вадим, — тут что-то дико, странно, не то...

Они пошли будить Ирину. В том, что произошло нечто из ряда вон выходящее, Ирину убедило только глупое и истеричное лицо Вадима. Таким она его никогда не видела.

— Вадя, летаргический сон — это чушь, — взволнованно-напряженно проговорила она, внимательно глядя на Вадима. — Все равно он быстро бы задохнулся в гробу. Как ты на это не обратил внимания. Просто вы оба перенервничали, отсюда срыв... Галлюцинации... они же бывают осязательными...

— А ранка?

— Она могла появиться от нервного потрясения... Вспомни стигмы...

Вадим утешился: все, что произошло, получало научное объяснение. Но тут же побледнел: неужели он сходит с ума.

Весь следующий день прошел подавленно.

– Все это временно, – говорила Ирина, озадаченная, а сама думала: "Если бы это произошло с этой слезливой дурой Наташенькой – одно дело; ей могло и присниться: но Вадим... с его сухостью, практичностью... Кроме того, ведь Вадим очень здраво любил отца: он почти не переживал на похоронах и потом все время был спокоен... Это не нервы... Уж не сошел ли он с ума по-настоящему".

Обдумывая все это, Ирина гуляла по садику и, подкармливаясь пирожками с луком, уже строила планы, как ей проще и выгодней бросить Вадима, если он действительно сошел с ума.

Наташенька плакала, пригревшись на кроватке, иногда читала стихи. Она охотно верила, что на нервной почве можно и на луну улететь.

Вадим же был совершенно уничтожен; он чувствовал себя в беспомощности и неразрешимости; и это была совсем не та неразрешимость, с какой он сталкивался раньше, простая и скучная неразрешимость математических задач; он надеялся только на время, которое вынесет его из этого положения... Он просто ждал, пытаясь ни о чем не думать.

Спать легли все вместе, втроем, в одной комнате; Наташа долго не могла успокоиться, но потом, измученная, по-детски крепко заснула.

Под утро, почуяв шорох, Вадим проснулся.

Матвей Николаич, босой, стоял, наклонившись над спящей дочерью; лицо его застыло совсем около наташиной груди; Вадиму послышалось, что он очень смрадно и хрипло причмокивает.

Тогда молодой ученый вдруг начал произносить про себя математические формулы; ему – в дрогнувшем уме – показалось, что от их устойчивой реальности Матвей Николаевич пройдет, можно сказать, испарится. Но старик не исчезал, даже совсем напротив.

Как приговоренный, Вадим толкнул Ирину. Увидев зятя, она завизжала. На визг отец обернулся, и они увидели его тяжелый, пухлый лик. Матвей Николаевич как-то отсутствующе рванулся и исчез в окне.

Ирина теперь и не обращала внимания на стоны Наташи. Она поглотилась одной мыслью: все они, втроем, заболели массовым помешательством, но самое главное: заболела она.

Наутро они не решились обратиться к врачу. Решено было по возможности скорее ехать в Москву лечиться в "центре".

Вадим стал похож скорее на лешего, чем на ученого, и больше всего боялся потерять свои математические способности.

Но, как ни странно, больше всех перетрусила Ирина; она лежала в саду на траве и гладила свои жирные ляжки; страх перед помешательством пригвоздил ее к земле; но и в ужасе она проявляла здравый смысл: эта история сбила ее планы, и теперь она уже и думать боялась уходить от Вадима; "кому я такая буду нужна", – мутилось в ее нежной голове... Даже травку она испуганно-утробно принимала за галлюцинацию.

... После того, как Матвей Николаич умер, очнулся он у себя в могиле, под сырой и тяжкой землей. И первое, что старик заметил: он может каким-то странным, непривычно-трудным, но возможным усилием выйти из гроба и этой земли. Словно и он сам, и гроб, и земля стали уже

не тем, чем были раньше, до его смерти. Старик пошевельнулся, но ничего не ощутил. Даже когда он вышел из могилы и сел на соседнюю плиту, то почти ничего не почувствовал: его движения стали неподвижны.

Все вокруг изменилось, и в то же время оставалось прежним; две звезды мерцали прямо на него сквозь пелену пространства; но были ли это звезды?! Вероятно, это был уже не совсем тот мир, и не совсем те звезды!

Но ничто не удивляло старика. Что-то замкнулось в нем раз и навсегда для человеческих чувств.

Он мог думать, но как-то формально.

А огромное поле сознания вообще ушло от него; исчезли многие понятия, особенно такие, как Бог, мир, жизнь; другие он помнил, например, "люди", "родные", но отдаленно; их значение было стерто и совсем не задевало души.

Все прежние, но еще сохранившиеся в нем слова стали, как исчезающие символы.

Старик побрел мимо кладбища. Он видел все прежние деревья, ряды и хаос могил; дальние дома; но все это приобрело вымороченный, странный вид; как будто в миру появились какие-то новые свойства, которых не было при его жизни.

Как труп, брел он по опустошенному и выхолощенному миру. По пути ему попались два одиноких прохожих, которые посмотрели на него и прошли мимо... Старик равнодушно отметил, что люди, наверное, видят его так, как будто бы он был человеком, но он видит и понимает их совсем по-другому.

Он не чувствовал никакой, хотя бы просто логической связи между собой и оставшимися людьми; они казались ему существами из другого мира, более далекими, чем раньше – при жизни – казались бы ему марсиане.

Существовал он или нет? Конечно, существовал, но это было ни на что не похожее существование; словно он наполнился каким-то тусклым самобытием, все время себя снимающим и выталкивающим в пустоту.

Мысли больше не были мощным источником его жизни; тело свое — в прежнем значении — он тоже не ощущал; человеческая речь отодвинулась куда-то далеко-далеко, еле значилась...

Он не заметил, как очутился около своего дома.

И вдруг он почувствовал в себе потребность, первую потребность, которая возникла в нем после смерти.

Она вошла в него сразу, грозно, тихо и неумолимо, как чудовищное, необъяснимое поле реальности. Он и не думал ей сопротивляться; ничему не удивляясь, он трупно пошел через сад, к дому.

Эта потребность была — напиться, напиться до полной потери сознания, человеческой крови, любой, но лучше своих близких.

Но он, однако, не знал: зачем, зачем это нужно делать! Просто он не мог поступать иначе, как будто сосание человеческой крови стало единственной реальностью, существующей на земле. В остальном мир был пуст и мертв.

Осторожно, затаясь, он проник в комнату дочери. И когда она упала в обморок, припал к ее голой ляжке, у самой ягодицы, где синела нежная кровеносная жилка. Надкусив кожу, он, сухо причмокивая, стал пить кровь, и так ясно, как будто уже давно был к этому предназначен. Странно, он не чувствовал при этом никакого удовольствия!

Формально он сознавал, что пьет кровь собственной дочери, но это знание было такое отдаленное и ненужное, как если бы он знал, что где-нибудь в Австралии идет дождь.

Наташа очнулась вскоре после того, как он бросил кровососание.

И тут в его мертвую голову пришла мысль объяснить свое появление летаргическим сном. К счастью, Наташа не заметила маленькой ранки на ляжке.

Старик, как мы знаем, монотонно произнес свое "объяснение"; мысли возникали где-то на поверхности его сознания, и он почти не ощущал их реально, хотя внешне говорил правильно.

Когда пришел Вадя, старик вел себя точно так же, тихо и приглушенно. Но он обратил внимание на то, что его теперешние, нездешние силы будто бы соответствуют его прежним, физическим силам, хотя, опять-таки, субъективно он почти не ощущает их.

Когда Вадя остался один, старик снова почувствовал упорную потребность; но на этот раз мертвец пустился на хитрость, выдавая кровососание за отеческий поцелуй.

Присосался он так же безжизненно, пустынно. Но оказывается, Вадим не только дернулся, а впопыхах схватил отца за горло, и это была сильная мужская хватка. И тут-то – среди полного безмолвия в своей душе – мертвец вдруг ощутил дикий страх за свою трупную жизнь; он даже почувствовал толчок своего отошедшего сердца. Это было уже настоящее, живое чувство! Извивнувшись, мертвец вырвался из объятий сына и выскочил в окно.

Но этот страх долго не оставлял его.

Каждая разрушенная клеточка его тела содрогалась от желания жить – смрадно и непонятно; это был вопль гниющего, но желающего сохранить себя распада; одинокие, мертвые токи в животе.

Он вспотел и погладил себя по телу; его пот скорее напоминал трупные слезы... Постепенно страх за свою могильную жизнь – единственно доступное ему полуживое чувство, смешанное все-таки с небытием, – затих.

Он опять погрузился в свое одиночество, в котором ничего не было, кроме абстрактной потребности к кровососанию.

Наконец, он оказался у глухой улочки, с фонарями, уже совсем обычный; он даже позабыл, что с ним произошло. Деревья, домишки, смотрели на него неподвижно и парализованно. Лил дождь, но он не ощущал его. По небу проходили скрытые ненужные тучи.

Старик был во власти какой-то трупной бесконечности. Не только себя он ощущал как труп – но и весь мир как продолжние своей трупности.

Но мир не интересовал его. Он заметил, что идет не к могиле, и неожиданно улыбнулся. Он шел к одному хорошо знакомому дому, где жили его прежние друзья; двое маленьких детей спали там в одной комнате, рядом спали родители.

Оказавшись в палисаднике, он осторожно подобрался к окну.

Вдруг старик по-мертвому вздрогнул: дверь у крыльца приоткрылась, и вышел мальчик лет девяти. Он живописно пошел по лунной дорожке к дощатому туалету.

Старик неслышно последовал за ним и, улучив момент, бросился на него. Мальчик был сразу оглушен или, скорее, парализован от страха; он лежал на траве под мертвецом; его открытые глаза кутенка смотрели на старика, но сознание мальчика сузилось, ушло в одну точку.

Старик пил долго, въедливо шевелясь и дергаясь ногой. Трава вокруг этой возни порядком примялась. Так прошло около получаса. Наконец, старик отряхнулся и встал; мальчишка, мертвый, лежал у него в ногах. Неторопливо старик пошел прочь.

Теперь он знал, куда идти: к себе, в могилу. Он быстро отличил ее среди других таких же могил; влез туда — по той же способности, благодаря которой он вылез из нее, — и притих, разместившись в гробу. Вдруг приятный румянец появился у него на щечках; губки сделались красными, налившись кровью; и ногти на руках и ногах, кажется, стали расти.

Самое странное было то, что он не испытывал никакого живого удовлетворения; субъективно это впитыванье и перевариванье было так же мертво, как и кровососание.

Но глаза мертвеца широко открылись, он дышал совсем по-человечески; распух, особенно в брюшке; и даже обмочился под себя кровяной, словно детской, мочой.

Весь день он пролежал в гробу; а ночью опять пошел к родным; это второе посещение было, как известно, неудачным: он не успел напиться наташиной крови.

На следующий раз он вышел к вечеру; еще было светло; никто не обратил на него внимания, и он спрятался около своего дома, наблюдая. Он ждал, когда Вадим с Ириной отлучатся. Что так тянуло его к дочери?

А его родные, напуганные своим мнимым помешательством, только что пришли с билетами в Москву; старик терпеливо ждал.

Наконец, Вадим и Ирина вышли пройтись. — "Надо подышать свежим воздухом — это лучшее лекарство", — услышал старик слова Вадима. Они сделали это так эгоистично, что забыли взять с собой Наташу, и она осталась одна, даже не подозревая об этом.

Прождав немного времени, мертвец, чуть наклонив туловище, пошел в дом. Увидев его, Наташа похолодела; по всем ее жилам прошел трепет мороза.

Отец подходил к ней с открытыми глазами, в которых были мутная неподвижность и застой. Увидев отца в этой

обыденной обстановке, при свете еще не исчезнувшего дня, Наташа вдруг инстинктивно поняла, что это реальность, а не "галлюцинация", и крикнула из последних слабеющих сил:

– Папочка, папочка, что ты делаешь?!

Старик воспринял эти слова где-то на поверхности своего неживого сознания; и вдруг что-то в нем дрогнуло, надломилось. Он проговорил машинально, сдавленно:

– Деточка... это же не я... не я... это... это...

А что было "это", знал ли об этом сам мертвец!! Но он еще выговорил: "Я ничего не могу с собой сделать".

В Наташе было встрепенулась искра надежды: ведь произошел какой-то контакт, какое-то понимание; но все это произошло лишь в исчезающей, человеческой части сознания старика; лишь оттуда донесся это слабый знак: "не я"; а внутри... внутри... в глубине его теперешней души он знал, чем стало его "я"; и оно стало дрожью небытия и кровососания.

Поэтому его слова не изменили его действий; произнеся их, он неумолимо приближался к дочери... и впился в нее: Наташа потеряла разум.

Когда Вадим с Ириной пришли, Наташа была уже еле жива. Супруги почему-то чуть не подрались. Наташу на подвернувшейся машине отвезли в больницу, а потом, через несколько дней, перебросили в крупный город, в психиатрическую клинику. Она вышла оттуда без диагноза, формально здоровая, но все время улыбалась, до конца дней своих.

В дальнейшем Вадим совсем скис; врачи ставили шизофрению; но он просто вдруг отупел математически; это придавило его, как клопа; он стал даже плакать, вспоминал свои "галлюцинации", порывался предложить что-нибудь дельное, но оказывался бессильным, как школьник. В кон-

це концов он опустился, забросил математику и жил дико, грязно и уединенно, жалуясь на неутоленное самолюбие.

Одна Ирина более или менее выкрутилась, благодаря своей животной любви к себе; она быстро бросила Вадима и где-то пристроилась.

Правда, после всего этого у нее до неприличия, до бешенства поднялся сексуальный аппетит, и она отдавалась кому попало, разумно полусуществуя в промежутках между соитиями...

... Между тем старик был раздосадован бегством родных; теперь появилась необходимость искать чужую кровь. После их отъезда он долго бродил, неприкаянный, по перрону, не стесняясь присутствия живых людей.

Следующие два дня прошли для него, как в тумане.

Мальчика, которого старик задушил, громко и помпезно похоронили. Считалось, что его уничтожила местная шпана.

Старик сам немного постоял у могилы после того, как все ушли. Он совсем сморщился и посерел, как опустившая крылья старая птица.

Но ночью он нашел, наконец, объект для кровососания. Это была очень жирная, прожорливая баба лет сорока, которая любила спать на воздухе, в саду, под душистым кленом.

Она спала много, крепко, с вечера, прикрывая лицо томиком Гете.

Старик приноровился обходиться малым: подкрадывался к ней незаметно, как мышка; и высасывал понемножечку, не теребя, так что женщина не просыпалась. Иногда ей только снились странные, цветные сны. Мертвец считал, что ее хватит надолго.

Правда, в первую ночь, когда он уже возвратился

и улегся в гроб, его стошнило. Зато больше он уже не лез к ее грудям, выбирая более тихие места, у бедер или с бочка.

Взгляд его совсем костенел, пока он сосал. По-своему успокоенный, старик некоторое время не чувствовал "потребности" особенно днем. И тогда он существовал, как в заколдованном круге, в тишине, очень опустошенно. Вскоре у него появилась глупая привычка прогуливаться по городу, даже по утрам.

Вряд ли кто-нибудь мог бы теперь его признать: после отъезда родных лицо его совсем изменилось, приобретая жуткое, законченно неземное выражение. Однако, один, приехавший с Севера, земляк, не слышавший о его смерти, чуть не узнал его, раскрыв руки для объятий: "Матвей Николаич... батюшки... Как ты переменился!". Но старик так посмотрел на него, что земляк похолодел и пробормотал, что ошибся.

Иногда мертвец заходил в библиотеку или разговаривал с девочками. Он был весь во власти какого-то бесконечного отсутствия и реальности небытия, насколько это можно себе представить. Девочки не могли с ним долго беседовать: казалось, он дул им в рот небытие. Они капризничали и плакали. Но он никак не мог понять, живут они или нет.

В библиотеке он выбирал книги наугад; чаще всего ему попадался Кальдерон. Он немного прочитывал, чуть улыбаясь; но все написанное казалось ему происходящим на луне или в спичечной коробке. Все было маленькое, потустороннее и нередко принимало характер обратного действия; как будто к обычной земной реальности присоединялась еще другая, непонятная, и от этого все происходящее имело уже другой, сдвинутый, не наш смысл.

Точно таким же он чувствовал все остальное, нечитае-

мое. Даже собачий лай был закутан в плотную оболочку иного смысла. А в себе он иногда чувствовал икание, только это было не физическое икание, а икание пульсирующего несуществования. Взгляд его то мутнел, то становился яснее. Но эта ясность ничего не меняла в мире.

Харкая, он удалялся к себе, в могилу, но уже странным образом хотел так жить, жить в самодовлеющей полутрупности.

Лишь мутное ощущение, что это еще не все, что с ним многое еще произойдет неизвестное, тревожило его.

Как-то, прогуливаясь по городу, он остолбенел: вдруг увидел двух существ, внутренне похожих на него.

Они шли прямо по улице, друг около друга, и он их выделил среди обычной суетности по мертвому взгляду и по особым, безучастным движениям. Подошел к ним и сухо спросил:

– Мертвецы?

Тот, который был побольше, улыбнулся и сказал меньшему:

– Этот наш, оттуда. Разве не видишь?!

– Михаил, – представился меньший.

– Николай, – представился больший. Не говоря ни слова, пошли вместе дальше.

Вышли за склады, где красная стена и бревна.

Присели рядом. Молчание длилось долго. Старик был безразличен даже к себе подобным, но исчезающим умом своим удивился: "Нас много... значит, мы – целый мир!"

Большой мертвец держал в руке портфель.

– Я летел сюда на самолете, – произнес он. – Говорят, здесь хорошие места.

– Я тоже в этой округе недавно. Обжился в сосед-

ней деревне, – добавил меньший.

– А где ваши могилы? – равнодушно спросил старик.

– Не все ли равно, – ответил Николай. – Ты много думаешь или полностью ушел? – обратился он к старику.

– Куда ушел?

– Ну что, не знаешь? – улыбнулся Николай. – Туда, где есть одно нет.

– А я много думаю, – вставил другой, Михаил, – но мои мысли совсем увязают там, где есть одно нет. Я теперь не понимаю их значения. Они мелькают и нужны, чтоб только оттенять то...

– Дурак, – перебил старик. – Я уже совсем не думаю. Оно овладело мной полностью. И это лучше, чем раньше, при жизни...

– У меня тоже нет мыслей, – продолжал Николай. – Если и появляются, то это просто слабоумные, распадающиеся огонечки, через которые я еще вижу ненужный мир.

– Как ладно говорит, – произнес Михаил, – ведь Коля был писатель.

– Значит, дурак, – сказал старик.

Опять помолчали. Летали птицы, уходя в жизнь. Где-то стонали гудки.

– Ишь, луна какая, – проговорил, оскалясь на небо, Николай.

– Много мы сегодня говорим. Голова кружится, – процедил Михаил. – Пора жить своим.

– А когда я сосу кровь, я кажусь себе цветком. Только железным, – не выдержал Николай.

– Ну, хватит, ребята, – прервал старик, поднявшись. – Расстанемся.

Мертвецы встали. И пошли в разные стороны, кто куда.

Лежа в могиле, старик мочился. Но он не чувствовал

этого. Что-то укачивало его, и видел он за этим концом еще и другие концы.

Дня через два Николай поймал старика у кинотеатра.

– Пойдем, с кем я тебя сейчас познакомлю, – прогнусавил он.

Старик пошел за ним, и на скамейке, в уютном уголке, под зелеными шумящими деревьями увидел Михаила, который сидел, положив ногу на ногу, и с ним еще двоих, тоже, по-видимому, мертвецов.

Один-то оказался просто мертвечонок, дитя лет тринадцати. У него были оттопыренные, большие ушки, и он смрадно, до ушей улыбался, глядя на старика.

"Этот свой", – подумал старик, но второй незнакомец озадачил его. Он был живой; это ясно видел "Матвей Николаич"; и от отвращения его пробрала трупная дрожь; но на лице живого виднелась какая-то обреченная, сдавленная печать.

– Кто это? – тревожно спросил старик.

– Самоубийца, – угодливо пояснил Миша. – Будущий, конечно. Но неотвратимо, и по судьбе, и по желанию его так выходит. Он бы кончил с собой давно, да вот с нами познакомился. Хочет немного погодить. Вертер эдакий.

Миша, будучи мертвецом, мог говорить языком писателя. Коля же, при жизни писатель, не раз заговаривал по-дикому и ублюдочно. Все это было на поверхности, ведь суть их слишком удалилась от этой жизни.

– Учти, как тебя... старик... Самоубийц мы не трогаем... это табу, – сказал Николай.

Самоубийца, смущенно улыбаясь, покраснев, привстал.

– Матвей, – мутно глядя на него, произнес старик.

– Саня... – Если бы не ваш брат, то давно бы повесил-

ся, ей-Богу, – засуетился самоубийца. – Никогда не встречал такого хорошего общества. Как в гробу. Всю бы жизнь на вас глядел.

– Немного истеричен. Плаксив. Чувствуется, из живых, – пояснил Миша.

– Зато Петя, наш Питух, хоть из детей, а мертвенькой, – костяным голосом пропел Николай, – даже из глаз пьет кровь. Петь, покажись.

Петя выглянул из-под бока меньшего мертвеца и молча улыбнулся.

– Очень смущаюсь я, что из меня после смерти получится... оттого и суетлив, – вмешался, опять покраснев, самоубийца. – Вот если б как вы стать, то есть жить небытием... А то вдруг просто "нуль" получится, в буквальном-то смысле... Вот конфуз... Нехорошо, – блудливо бегая глазками, произнес он. – Или не туда угодишь... Или еще что... Вот на вас только глядючи и умиляюсь: не всех людей загробные ужасы ждут... Утешаюсь, можно сказать...

– Пошли, ребята, в лес, – прервал Михаил, – скоро все слова забудем. И так с трудом говоришь, как заколдованный.

Брели молча, к медленно заходящему солнцу. Петя, щелкая зубами, – эдакий детский трупик – опережал всех, бегая по полю и срывая полевые белые цветочки.

– Неужели он понимает, что делает? – спросил самоубийца у Николая.

Вдали виднелся скрытый, точно загримированный, лес. Щебетанье птиц, звон стрекоз и кузнечиков, порывы ветра – все было, как предсмертный стон больного, и далеко, далеко.

А старик, от всего мира ушедший, вдруг почувствовал, что ему не по себе даже среди своих. Но он шел, замкнувшись в небытии.

Пришли на поляну. Расположились.

Николай, когда садился, как-то мертво, в пустоту, улыбнулся.

– Устал я от слов, – проговорил Михаил. – Разве это веселие? Надо что-нибудь свое, трупное.

Старику же стал неприятен Петя: он катался по траве, как бесенок, подбегал то к одному мертвецу, то к другому и дергал их за ухо. Но сам не получал от этого никакого удовольствия, и взгляд его был тяжелый, недетский, как у гиппопотама.

Впрочем, старику показалось, что у мертвечонка сквозь его неживые глаза пробивается все-таки нахальство.

– Ну, споем, – пробасил самоубийца.

Оказывается, под мышкой у него торчала гитара; старик раньше и не заметил этого.

– Пусть Петя, соло, – произнес кто-то из мертвецов.

Мертвечонок сел в центр круга; всюду на него смотрели друзья. Вдруг Петя запел. Рот его разевался до ушей, обнажая недетскую пасть; и было странно, что у трупа такой подвижный и раскрывающийся рот; оттопыренные ушки его раскраснелись от прилива ранее высосанной крови; личико он поднял вверх, к Господу; неживые глазки прикрыл и пел надрывно, с трудом, даже расширялись мертвые жилки на шее.

Что он пел, было непонятно; кажется, советские песни; но не все ли это было равно?

Мертвецы сидели вокруг молча, насупившись, и словно застыли в нечеловеческом ожидании самого себя, мертвого. Между прочим, ходил слушок, что Петя единственный среди них позволял себе садизм при кровососании. Особенно по отношению к грудным младенцам.

Остальным даже садизм был не нужен.

Сейчас все они устали от глупого человеческого языка, от болтовни, которой они обменивались в новинку, и цепенели, и цепенели и цепенели.

Мертвечонок неожиданно бросил петь, пусто и ни с того, ни с сего. И вдруг заплакал мертво, сжато и сумасшедше, обнимая руками трупное личико.

О чем он плакал? Он сам ничего не знал об этом, но уж, конечно, не о своей прошлой, живой жизни.

– Спляшем? – предложил самоубийца.

И вдруг все точно сорвались, и заплясали под остервенелый звон гитары. Ай-люли, ай-люли, ай-люли, лю-ли, лю-ли. Плясали все, извиваясь, поднимая вверх и руки, и ноги. Ай-лю-ли, ай-лю-ли.

Казалось, парализованные деревья качаются вместе с ними.

Однако ж это не был человеческий пляс, а пляс небытия; они даже не ощущали своих движений, подпрыгиваний и своего бешенства; но "что-то" все-таки плясало в них; это было их существо: комок небытия, который они непостижимым образом ощущали, неподвижный писк исчезновения, трупная бесконечность; и все "это" истерически тряслось в них, завывая и подплясывая, кружась вокруг себя и поднимая в никуда ручки.

Мертвое болотце тусклого небытия чмокало в их телах, похожих на дым; оно по-трупному попискивало и, обреченно веселясь, оборачивалось в самое себя. Мира не было. Некоторые из них попадали; потом вставали; Николай провалился в канаву.

Но их "физическое" положение было само по себе; все они превратились в единый визг небытия, вовсю несущийся по их трупному существованию; небытие пищало, выло, улюлюкало, хохотало и неожиданно сморщивалось, застывая. Даже листья деревьев стали как могильные сущности. Мертвечонок притоптывал ножкой.

Между тем самоубийца уже кончил играть; но веселие продолжалось.

Наконец, незаметно для самого себя, старик отошел немного в сторону, в лес; он уже угомонился и брел просто так, около кустов и деревьев; шелуха шишек и листьев посыпала его мертвую голову. Лучи солнца пробивались сквозь чащу.

Вдруг ему захотелось испражниться; как раз этой ночью он чересчур много напился крови; очевидно, часть состава высосанной крови иногда выделялась через трупный полукал.

Он присел у большой ели, под кустом, совсем, как живой человек; затих.

Вдруг, откуда ни возьмись, появился самоубийца; остолбенев, он смотрел на испражняющегося мертвеца.

– Так ты жив! Подлец! – заорал он. – Ты гадишь, значит, ты жив!

Лицо его покраснело и подергивалось, точно его ударили по щеке или отняли самое святое.

– Ренегат! – закричал он и бросился к старику. – Шпион... Живая сволочь...

Мертвец не успел опомниться, как самоубийца налетел на него; старик дернулся и вдруг почувствовал, как острый, огромный нож входит ему в грудь.

И тут он завопил, на весь лес, еще сильнее и громче, чем тогда, когда бежал от сына; завопил по-живому, в утробном ужасе за свое мертвое существование; дернулся ногой, а по лицу уже стекали трупные слезы, и вдруг, сквозь неживые остекленевшие глаза его, выпученные от страха, глянул призрак человеческого сознания... И наконец что-то оборвалось... И старик услышал внутри себя пение, и увидел надвигающуюся необъятную полосу, растворяющую в себе весь мир... Его душа уходила в новую, неведомую сферу бытия...

На земле остался теперь уже навеки недвижный труп: но лицо его уже не было таким застывшим, как при мертвой жизни старика; оно было искажено судорогой человеческого страха и надежды...

Но кто может сказать, что будущее станет лучше настоящего? Ведь нити находятся вне рук человеческих.

ПОЛЕТ

— Официант! — блюдечным, истеричным голосом закричал человек, сидящий против меня. — Официант!

Было безлюдно, как в погребе, и такое впечатление, что эта тихая зала столовой вообще скоро исчезнет. Исчезнет раз и навсегда. По углам виднелись убогие, малочисленные, ни на что не обращающие внимания люди. Один из них был почему-то почти голый.

— Официант! — опять взвизгнул мой неугомонный сосед. Я сидел с ним вдвоем.

— Какой-то ужас, — обратился он ко мне, прячась в свои мутно-слезливые, темные глазки, — уже пятнадцать минут жду официанта, а его нет. Наверное, трепется с поваром. Лучше застрелиться.

Я не обратил внимания на его последнюю фразу, но вдруг увидел, что он вынимает из кармана огромный, какой-то дикий пистолет и кладет его на столик, рядом с меню.

— Да вы что?! — выпучил я на него глаза.

— А я уже не первый раз этим занимаюсь, — смрадно улыбнулся он прилипчивым к самому себе ртом.

— Чем?

— Да стреляю в себя из-за всяких пустяков. Надоела вся эта жизнь. Одни неудачи и какая-то тягучесть.

— Хм, — брякнул я, — но вы не походите на израненного человека.

— А я до смерти стреляюсь. Без промаха... — был ответ.

Я посмотрел в тарелку со своей колбасой и как-то по-съестному хихикнул, как будто колбаса была зеркальцем.

— И это продолжается уже тысячу лет, — спокойно продолжал человечек, угрюмо поглядывая на ползущего в стороне клопа. — Раздражают меня всякие казусы в миру. Как будто стенка. Или, может, просто терпения нет. Впервые я, кажется, зарезался каменным ножом из-за того, что долго не мог добыть подходящий шлем на свою голову. С этого и началось. Я хорошо помню некоторые из своих бесчисленных прошлых жизней. И все они кончались быстро и одним и тем же. Один раз я, например, повесился из-за того, что не мог найти носков, — он подмигнул мне. — Я почему-то очень быстр на судьбу и мгновенно рождаюсь опять, как только умираю. Сейчас, к примеру, меня зовут Петя.

Я не знал, что ему возражать и стал тупо доедать свой ужин. Потом поглядел на спины одиноко жующих людей и почувствовал нехорошее. Очень пугал меня огромный, видимо, туго набитый пулями пистолет, лежащий на столе.

— Что же, самоубийство для вас способ развлечения? — вдруг осведомился я.

— Ваш юмор не к месту, — сухо осадил меня Петя. — Просто мне надоело натыкаться на вещи. Полет, полет у Петра Дмитриевича должен быть, полет! Потому и стреляюсь.

Я молчал, съежившись жирной спиной. Куда он, собственно говоря, хотел лететь? Самоубийства и бесконечное

мелькание новых жизней – это и составляло для него полет, или у него была надежда действительно куда-нибудь улететь, вырваться, все быстрее и быстрее меняя свои жизни?

Но это оставались идеи, гипотезы. А сам он сидел передо мной, и дышал в меня так, как будто не мог уйти.

Меня стало беспокоить отсутствие официантки.

– Не обращайте внимания, – заметил он. – Иногда я стреляюсь просто так, по инерции. Даже без особого раздражения на вещи.

Он вдруг истерично схватил в правую руку пистолет и приставил его к своему глазу; другим глазом сурово, словно глядя на весь мир, подмигнул мне – и выстрелил...

УПРАВДОМ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ

Управдом Дмитрий Иванович Мухеев заведовал целым скопищем домов; большинство домишек были маленькие, покосившиеся не то от страха, не то от хохота; и народу в них обитало видимо-невидимо, так что было впечатление, что домишки слегка дрожали, как толстые, подгнившие дубки во время приближающейся грозы. Среди них угрюмыми серыми великанами возвышались два семиэтажных дома; грязь ливнем стекала с их крыш, заливая стены и окна водянистыми, слезливыми пятнами. Серость проникала через окна в комнаты-клетушки, погружая их в сошедшее с ровных небес скудное одиночество. Народ в этих местах жил шальной и бывалый; и несмотря на одиночество, крик здесь стоял день и ночь; сами людишки носили тут печать особой, животной индивидуальности; были тяжелые, с расплывающимся мешком вместо лица, на котором сидели, правда, как ненужные наросты, два тупо-блестящих выпученных глаза; были матерно-активные, деловые, как бегущие, сами не зная куда, лошади.

Женщина больше была толстая, глистообразная и ушедшая в себя. Нудно работала, стояла в лавках, варила обед

или медвежьи мечтательно сидела во дворе, выставив к солнцу пузатую, обремененную бытием задницу.

Некоторые — тоненькие — в коридорах и чердаках, по темным углам, читали книжки.

Дите было совсем больное; но вместе с тем страшно наглое и злобное; кусало собак, било мальчишек, баловалось запрещенным. Взрослые их не любили и побаивались.

Вот в такой-то среде и прошла жизнь Дмитрия Ивановича, день за днем, в солнце, в криках и сжимающей сердце тишине.

По своему общему мировоззрению (а такое есть у всех людей) Митрий Иваныч был не то чтобы сознательный атеист, а скорее, как большинство "ничевоков", то есть он не имел понятия ни о самом себе, ни о том, что его ждет после смерти. Вопросительная пустота окружала его душу; пустота, о которой он не думал, но которую чувствовал; а для пустоты самым подходящим словом было "ничего".

Быстро пролетали года, и он не заметил, как ему стукнуло 50 лет; детей у него не было, а единственного близкого ему человека, жену Варвару, с малолетства прозывали "шкурой"; это за то, что она была то непонятно нежна, то по-крысиному жестока, неизвестно почему. Нежна она была попеременно к мужу, к неестественно инфантильному, кружащемуся около помоев, забитому мальчику, к прохладной чистой воде из колодца и к своим полным, белым грудям... Жестока же она была ко всему остальному, что вне ее.

Митрий Иваныч провел свою жизнь энергично; энергично любил жену, энергично ее разлюбил, но самое большее, что он делал — это работал. Работать, как вол, даже как раб, ему нравилось.

После каждого тяжелого рабочего дня, поздно вечером, он, распахнув крыльями руки, пританцовывал на одном месте.

Грязь сыпалась с него, как перхоть.

В каждом аккуратно сбитом сарае, в каждом гвоздочке, в каждом залатанном домике была его рука, точнее, его руководство. Но все это как-то терялось в общем гаме и переменах, и Митрий Иваныч часто думал: мое или не мое? Иной раз только что поправленная по его хозяйскому глазу крыша выглядела сурово и отчужденно, точно и не Митрий Иваныч ее поправлял.

Бывало, что и тоска нападала на него; особенно не любил он предчувствий, но предчувствий не по какому-либо поводу, а предчувствия вообще – холодного, смутного, сидящего где-то в голове, посреди мыслей; он даже дергал головой то влево, то вправо – чтобы вытряхнуться. Старушка Кузьминична – мать Варвары – называла такое предчувствие от Господа.

"Господь-то не оставляить тебя, Митряй", – милостиво говорила она зятю.

Пить Митрий Иванович – не пил; на Руси – это большая редкость.

Объяснял он это так: "Серый я человек, чтобы пить. Водка ведь напиток ангельский. Ее люди чистые пьють, с детской душой. А я черненький – весь в гвоздях и в рамах перевыпачкался".

Это были самые глубокомысленные слова за всю его жизнь; вообще же он больше молчал или говорил материально-деловые, целенаправленные слова.

Так и проходила его жизнь – свет за светом, тьма за тьмой.

Смерть подошла незаметно, когда ее не ждали, как надвигается иногда из-за спины тень огромного человека.

Сколько раз, еще с детства, он видел, как на его глазах умирали люди от этой болезни – от рака. Но ему не приходило в голову, что это его коснется. Умирали по-разному: кто проводил свои последние дни во дворе, разинув гниющий, предсмертный рот на солнышко, точно глядя на него таким образом; кто наоборот – в смрадной, темной комнате, на постели, закрывшись с головой одеялом, дыша своей смертью и испарениями; кто умирал тоненько, визгливо и аккуратно, даже за день до гибели прополаскивая исчезающий рот; кто – громко, скандально, швыряя на пол посуду или кусая свою тень...

И Митрий Иваныч тоже прочувствовал смерть по-своему, по-мухеевски.

Когда он совсем захирел и не на шутку перепугался, то поплелся в поликлинику, в самую обыкновенную, в районную.

Поликлиника со своими длинными, одноцветными коридорами скорее напоминала казарму, но казарму особую, трупную, где маршировали и кормились одни трупы, а командовали над ними жирные, сальные и страшно похотливые существа в белых халатах.

Наплевано было везде, где только можно, и от тесноты люди чуть не садились друг на друга. Были, правда, какие-то странные тупики, где ничего не было, ни врачебных кабинетов, ни туалета; иногда только там маячили призрачные, мечтательные фигуры, почесывались.

Из кабинета в кабинет то и дело шмыгали врачи и сестры; Митрию Иванычу стало страшно, что от этих типов и от всякой аппаратуры, стоящей по углам, зависит его судьба. Он почувствовал дикую слабость, и от этой слабости он ощутил свое тело совсем детским, хрупким и призрачным, как у малолетнего ребенка; он всплакнул; сладенькая дрожь разлилась по всему телу, а сердце – родное серд-

це — колотилось так, как будто билось высоко-высоко, у самого сознания.

Точно просящий помилования, жалко улыбаясь, он вошел в кабинет.

Врачиха была толстая и еле помещалась на стуле; она покачивалась на нем, как болванчик. Работала она грубо, остервенело, точно стараясь как можно скорее добраться до истины, до диагноза. Митрий Иваныч аж вспотел.

Диагноз, видимо, ей не понравился; она чуть было не выругалась по-матерному.

Когда несколько крикливых врачей в рентгеновском кабинете громко брякнули "канцер" (слово "рак" было запрещено говорить), а шепотком между собой добавили, что совершенно безнадежно и скоро наступит крах, Митрий Иваныч все понял, понял, что конец. Он и раньше, когда трухнул, об этом догадывался. Но после приема, выйдя на улицу, он вдруг почувствовал прилив сил. Скорее не физических, а нравственных.

"Ни хрена, пустячок", — как-то тупо и неожиданно для самого себя подумал он. А что, собственно, было пустячок?

"Ни хрена, пустячок!" — опять тупо, озираясь, подумал он.

А дойдя до скопища домов, которыми он управлял, Митрий Иваныч совсем оживился, как гнойная муха от дуновения тепла.

— Они меня переживут! — истерчески взвизгнул он и даже почувствовал облегчение.

Он вспомнил виденное им когда-то изречение на могиле академика Марра, что человек живет в своих делах, а не в самом себе (и поэтому единственный смысл жизни — наделать как можно больше всяких дел).

— Дяла, дяла, дяла — самое первое! — закричал Митрий Иваныч и замахал шляпой своим домишкам. Какие-то хо-

хотки преследовали его по пятам. Но он сначала не обратил на них внимания.

Подбежал из последних предсмертных сил до покосившегося домика, глянул в оконце: "Вася, пол-то какой, пол! Я его переделывал".

Вася показал пьяный кулак.

Митрий Иваныч чувствовал, что во-первых, ему не надо думать, а во-вторых не надо видеть близких, потому что они могут заглянуть в него; а что сейчас самое главное — бегать вокруг своих домов. Насколько ему позволяли остатки сил, он и семенил то вокруг домишек, то вокруг уборной и помоек.

Помахивал им шляпой, заговаривал с ними. Особенно долго задержался вокруг одного сарая, который был сбит по его личному указанию... Просветленный, пошел в свою контору.

Был конец работы, и за столом сидел только угрюмый, шизофренически вечно смотрящий на часы счетовод Прохоров. Митрий Иваныч посидел, глянул в дома да и ляпнул:

— Умный был Марр, академик, деловой.

— Деловой-то, деловой, — строго ответил Прохоров, — да глупости одни наделал.

— Как? — ухнул Митрий Иваныч.

— Ты что, иль не знаешь? Ерундовой его теорию признали, гроша ломаного не стоит.

Мухееву стало страшно; в животе по-темному заскребло, а перед душою закачалась пустота.

— И во всем мире? — невнятно спросил он.

— А в других местах его и не знал никто. Я книжки читаю. По ночам.

Мухеев плюнул и упырчато подумал: да, теория не дома.

Но неопределенный страх млел в душе. "Главное — не думать", — пискнулось где-то в глубине, у члена.

— Ну, как Митрий Иваныч, куда денемся, когда дома сносить будут, — услышал он перед собой голос Прохорова.

— Как сносить? — ужаснулся Мухеев.

— Да ты что, ошалел что ли сегодня? Забыл, что все домишки сносить будут?

Мухеев и вправду забыл. Забыл на тот срок, когда нужно было забыть. А сейчас поневоле вспомнил. Впрочем, вспомнить, не сегодня, так завтра, все равно бы пришлось. Сносились все домишки, кроме двух семиэтажных, те хоть растреснутые, но только ремонтировались. "Куда идтить, — подумал Мтрий Иваныч, — все пропало, все дяла исчезнуть", — и покачнулся от стремительно от-открывшейся ему черной бездны.

— Ай-яй-яй, опоры нет нигде, опоры против смерти, — мелькнуло у него.

Тихохонько, еле ступая на ногах, как ходит начинающий передвигаться младенец, растопырив руки, точно подыскивая опору в воздухе, он выполз из конторы.

— Семиэтажники остаются, — бормотал он вслух, — но все исчезнет, рано или поздно, как пот от пальцев... А что останется, так ведь все равно — не мое, чужих станет; и память обо мне — чужая память, а не моя; они — даже обо мне вспоминая — моим именем жить будут, они будут — а не я!

Он почувствовал дикую злобу к людям, которые будут помнить о нем после его смерти, злобу к самой памяти о нем, которая будет принадлежать другим, а не ему, точно в издевательство над самой идеей бессмертия.

Проюлил около огромного, темного семиэтажного дома; вот — помойка; вот горшки на окне; а вот тень — огромная, черная! Почему сейчас все обычные вещи стали такими жуткими? Митрий Иваныч остановился. Его лихорадило, но он продолжал хрипеть:

– И как это я искал спасения в делах и вещах? Ну, вот дом. Ты стой не стой, будь не будь, все равно – ты мертвый; как может живое искать спасения в мертвом?

И вдруг сзади него раздался хохоток, тот самый, что он слышал недавно, но не обратил внимания; живой такой хохоток, детский, но странный; с нежными переливами, как у соловушки, и с изгибами и взвизгами, как у сладострастного старичка.

Митрий Иваныч оглянулся, и чья-то юркая тень мелькнула змеей за забором.

Отупев, слегка обмочившись, Митрий Иваныч побрел домой. Дома никого не было. Бросившись мокрым от страха брюхом на диван, Митрий Иваныч разрыдался. Ужас был настолько силен, что он заснул, инстинктивно уходя от гнета сознания.

Прошло несколько часов квази-небытия, и вдруг Митрию Иванычу стали сниться сны. Ласковые такие, теплые, будто кто-то его по головке гладил. И снилась ему его жена, Варвара Петровна, но не та Варвара Петровна, которая была сейчас – а в годы восхода любви их, нежная, в искренности и точно убаюкивающая и уводящая его далеко от мира. Ему показалось во сне, что то, случившееся наяву: смерть, ему приснилась, а по-настоящему реальна только эта любовь, от которой нежнеет душа и кровь. Он и проснулся с таким чувством. Оглядел серый и могильный в своей обычности и постоянстве уют комнаты. Было уже утро.

"Но улю-лю, улю-лю: скоро придет Варя со смены, – подумал он и улыбнулся. – Что это со мной?!"

Смерть точно отодвинулась по ту сторону мыслей, а жить стало легко-легко и не страшно, только потому что существует Варя, как бы взамен собственного существования. "А я ведь ее люблю", – со светлой тупостью поду-

мал он. Вся прежняя долголетняя ненависть и равнодушие позабылись, точно родилась новая Варя. "Любимая, Варенька", – весь дрожа, слезящимся голосом пропел он и поцеловал ее старую запыленную фотографию.

Между тем Варенька слегка под шафе возвращалась из пивной. Настроение было уютно-подпрыгивающее, потому что еще раньше, встретив на улице районного врача, она услышала, что Митрий Иваныч наверняка умрет. Она сначала почувствовала даже жалость к нему, но – объективно, по ряду внешних причин – ей было бы лучше жить, если б Митрий Иваныч умер, и эта холодная, торжествующая объективность беспощадно вытесняла и отбрасывала жалость. Жалость была как бы сама по себе, а объективность сама по себе. "Мне его, конечно, жалко, но как было бы хорошо, если б он умер", – подумала она.

Чтобы утеплить свое нутро и мысли, она и юркнула, как старый, толстый червь в дверь-норку влажно-густой пивнушки.

Там за столиком, между сумасшедше-двигающимися людишками, но как бы отделяясь от них, впитываясь в себя, Варвара, прихлебывая, точно собственную кровь, пивко, мусолила открывающиеся перед ней перемены. Под конец она даже почувствовала любовь и благодарность к Митрию Иванычу за то, что он умрет.

В таком настроении с влажно-змеиными, добрыми глазами она пришла в свою комнату.

От счастья Митрий Иваныч окончательно просветлел под Варвариными ласками и нежными словами. Смерть была далеко-далеко. Свершилось таинственное вознесение и перенос бремени жизни. Поглядывая на его запыхавшееся, красное лицо, блестящие глазки, нежный и искренне-преданный взгляд, Варвара недоумевала, почему сейчас,

перед смертью, на него нашел стих любви, да еще такой необычной, духовной.

Но так как все это ее совершенно не интересовало, то она отмахнулась от поисков ответа. А Митрий Иваныч расцветал. Подложив подушечку на стул, усадил Варюшу на мягкое. Из последних, предгибельных сил бросился на кухню разогревать чайник. Шатаясь, принес ей, слегка расплескав, стакан горячего чаю, но сахарку не рассчитал и от притока любви положил слишком много, переборщил, так что Варвара Петровна недовольно поморщилась и хотела было матюгнуть Митю, но воздержалась. А душа Митеньки находилась в каком-то сладостном, далеком от земного веселии.

Он юлил и то хотел уложить Варвару Петровну отдохнуть на диванчик, то начинал вытирать пыль, чтоб помочь ей убраться.

Варвара Петровна молчала.

Но, когда Митрий Иваныч совсем расхрабрился и начал было из потрепанной книжицы читать ей стихи о любви, она выругалась: "Обормот!". Однако ж Митрий Иваныч принял это не за свой счет, а за счет дальнего живущего у темной уборной соседа. Лицо его по-прежнему было добренькое и легкое, как у ангелочка...

Варваре Петровне иной раз становилось опять жалко его и сжималось сердце, но в душе все равно холодно и равнодушно думалось: "хорошо бы умер".

– Митя, скоро перевозка приедет; врач договорился; ты, говорят, совсем ослаб, падал; в больницу тебя возьмут, на поправку, – спокойно сказала она ему.

Митрий Иваныч подскочил:

– Не хочу, не хочу! – и замахал рукой.

– Почему, Митя? Тебе лучше будет: уход там хороший и снотворные, – удивилась Варя.

Митрий Иваныч засеменил.

– Что мне уход? Мне лишь бы ты была рядом, Варюша; со мной – у тела моего, у души, – взвизгнул Митрий Иваныч. – Рядом! – и он протянул к ней жадные, просящие руки: "Не покидай".

Как раз в это время раздался у окна пронзительный вой санитарной машины. Митрию Иванычу показалось, что если его оторвут от Вари, то он непременно умрет, умрет в сознании своем еще раньше, чем на самом деле, потому что не будет непонятной, таинственной защиты от гибели – любви.

Он заплакал. "Не покидай", – пробормотал он сквозь слезы.

– Что же, я с тобой в больницу поеду? – ответила Варя.

Митрий Иваныч засуетился и захотел было спрятаться в угол, где раньше стояла кроватка, в которой он впервые познал Варину любовь.

– Я к тебе приходить буду. Ты там выздровишь, – приговаривала Варвара Петровна, собирая его вещи.

Тем временем вошли равнодушные, как палки, санитары.

– Ишь, больной, какой прыткий, – сказал, правда, один из них.

Слово "выздровишь", произнесенное Варварой Петровной, немного смягчило Митрия Иваныча, но предстоящая разлука с женой казалась невыносимой. Однако все произошло так быстро и автоматично, что Митрий Иваныч не смог придти в себя. Неожиданно он застеснялся плакать при санитарах. По-настоящему опомнился он уже у машины, когда его втискивали туда, а рядом стояла в платочке, поеживаясь от теплого солнышка, Варвара Петровна.

Он почувствовал, что его отрывают от источника жизни, теплоты и забвения.

– Варя, приходи, приходи скорей, а на память сейчас дай чего-нибудь, – жалко выговорил он из-под туловища огромного санитара.

Варваре Петровне, задумавшейся о своем, послышалось, что он просит кушать. Тяжело вздохнув, она возвратилась в дом и, оторвав от вареной курицы, которой она хотела завтра закусывать водочку, пупырчатую ногу, принесла ее в бумажке Митрию Иванычу. Митрий Иваныч от умиления и слабости расплакался. "Смягчи последней лаской женскою мне горечь рокового часа", – мгновенно вспомнил он кем-то оброненные на улице слова неизвестного ему поэта.

Отдышался он уже в больнице, в палате-каморке, на чистой, но грозной в своей чистоте постели. По углам разговаривали со своим уходящим "я" больные.

От слабости Митрий Иваныч уснул и проснулся утром от игры солнечного света и оттого, что рядом шумно мочились.

Его осматривали врачи, ворочали и уходили.

Веселые, сексуальные сестры, казалось, только ждали смерти больных, но не из удовольствия, а просто из бессознательного чувства прогресса. Раз человек тяжело болен, – думали они, – значит следующим пунктом должна быть его смерть. А ведь у женщин чутье естественно развито больше всего. Одна сестра даже заболевала, если кто-нибудь упорно не умирал.

Но Митрию Иванычу было на все наплевать; он жил ожиданием прихода Вареньки; без нее, в этой больнице, среди чужих умирающих и здоровых чужих, он чувствовал себя отрезанным, выброшенным на пол ломтем. Но тем живее, как трепет света, жил он образом Вареньки.

Гадал, о чем она думает, что делает, как нежится в постели. Он и сам не вникал, почему сейчас, перед смертью, когда ему пошел уже шестой десяток, он вдруг за один день стал так романтичен, как не был даже в дни молодости и любви.

Но Варенька не пришла и назавтра, не пришла и потом. Она хотела придти и даже слегка нервничала из-за этого, но никак не могла собраться.

Дело в том, что в первый же день после отъезда Дмитрия Иваныча, она здорово напилась с одним чистеньким, очень отвлеченным от страданий мужиком. Закусывать пришлось лишь курицей, и то без подаренной пупырчатой ноги, а Варвара Петровна очень любила поесть, особенно масляное. Ее развезло. А наутро она собиралась пойти, но отвлеченный от страданий мужичок не давал ей покоя в смысле любви. Он почему-то весь обслюнявился, но Варваре Петровне было так радостно, что она то и дело весело ржала и дрыгала ногой.

Конечно, можно было пойти вечером (к Митрию Иванычу, как к тяжело больному, всегда допускали), но Варваре Петровне стало лень, и к тому же после разгула ее всегда тянуло выпить кружку пива и сходить в кино... А в последующие дни она не пошла по приятной инерции.

... Митрий Иваныч плакал в своей кровати; он зарылся головой в подушку и рыдал; окружающие думали, что он плачет, потому что знает, что скоро умрет, а Митрий Иваныч плакал от неразделенной любви.

Потрясение, испытанное им из-за того, что Варвара Петровна не пришла, ввергло его в какое-то непонятное состояние. С одной стороны, он осознал всю странность, но и неотразимость действия тех мощных, внутренних сил, которые заставили его вдруг так полюбить Варвару Пет-

ровну, как будто она родилась вновь и уже не была его затасканной женой; с другой стороны, он осознавал, что все это какой-то бред и что весь опыт его прежней, долгой жизни говорит о том, что любовь, да еще к собственной жене, – чушь, в которой стыдно даже признаться; наконец, он ясно видел, что в ответ на его фантастический взрыв Варвара Петровна и ухом не повела, что его любовь – не разделена.

Но тем не менее – странно! – он отбросил первые два соображения и неожиданно весь ушел в неразделенность любви.

"Лучше уж так мучиться, только бы загородить этим страх перед смертью", – подумало на секунду что-то внутри его. И он, мысленно взвизгивая, доводя себя до исступления, пока еще бессознательно, всей душонкой своей, уходил в прибежище неразделенной любви, которое спасало его от еще большего, последнего ужаса.

Он написал истерическое, слезливое и длинное письмо Варе; залезал с головой под простыню; и вечно бормотал про себя как-то запомнившиеся ему лермонтовские стихи:

У врат обители святой
Стоял просящий подаянья
Бедняк иссохший, чуть живой
От глада, жажды и страданья.

Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.

Так я молил твоей любви
С слезами горькими, с тоскою,
Так чувства лучшие мои
Навек обмануты тобою.

Митрий Иваныч бормотал эти стихи всегда, завывая от их скорбного, страшного смысла; бормотал, когда его выслушивали насмешливые врачи; когда возили в уборную; за едой, когда пища вываливалась из рта. Он совсем помутнел от этих стихов.

... Варя читала его письмо совершенно равнодушно; хотела было сказать про себя: "дурак", но когда прочла все, то почему-то решила, что не он его написал. "Слишком уж заковыристо для Мити", – подумала она. За дни своей свободы от Митрия Иваныча она распухла, не то от водки, не то разврата. Но жалость – легкая, абстрактная такая, не мешающая ей спокойненько кутить – такая жалость к Митрию Иванычу тоже по-своему волновала ее. Наконец, мирно поругивая себя и мысленно сославшись, что первые дни не приходила по пьянке, а потом вдруг совестно стало, она поплелась с передачей к Митрию Иванычу. Тот в это время застрял в уборной. Когда Варвара Петровна пришла, кровать была пустая. У нее мелькнула мысль: передачу оставить, а самой быстрехонько улизнуть, но тут как раз Митрия Иваныча ввезли.

Митрий Иваныч за эти последние дни окончательно ослаб, и вместе со слабостью появилась в нем какая-то страшная, уничтожившая все ясность мышления. Этот переворот происходил постепенно, а встреча с Варварой Петровной привела к тому, что эта ясность беспощадно хлынула во все тайники сознания.

Собственно, встречи никакой не произошло; Варвара Петровна сказала два-три слова; Митрий Иваныч невнятно прошептал ответ; Варвара Петровна опять что-то сказала, а Митрий Иваныч смог прошептать уже только полслова. Он равнодушно смотрел на нее, как на тумбу, и недоумевал, за что ее можно было любить. Обрадовавшись, Варвара Петровна ушла.

А завершившийся переворот в душе Митрия Иваныча состоял вот в чем: те истерические, странные силы, которые гнали сознание Митрия Иваныча от смерти сначал к "дялам", а потом к любви, исчерпались; всепобеждающая ясность внутри его сознания, которую он сдавливал и пытался замелькать, пробилась; непостоянство чувств рухнуло пред постоянством мышления; он понял, что от смерти не уйти; и хоть люби его Варвара Петровна или не люби, хоть настрой он тысячу домов или не настрой, это не ответ на внеземное, тяжелое дыхание смерти; и что ответ может быть заключен только в самом понимании смерти. Но здесь Митрий Иваныч был, конечно, бессилен, так как понимание это могло придти лишь после познания той области, которая лежит за пределами видимого мира. Да и то, имея в виду полное успокоение, если это познание абсолютно – хотя бы в отношении судьбы "Я".

... От этой чудовищной, торжествующей без торжества ясности уничтожения Дмитрию Иванычу стало так жутко, что спасало его только возрастающее забвение.

Правда, иногда он, стараясь ни о чем не думать, все же гаденько в душе повизгивал, и чтобы убедиться в том, что он еще жив, потихохоньку, маленькими дозами мочился в постель.

Кроме того, из-за сознания приближающейся гибели он сумеречно пытался повеситься; и слабыми, как тень,

руками безнадежно, из последних сил пытался привязывать к спинке кровати какие-то шнурки. Но прежние внутренние силы еще копошились в нем: на него нападал страх и он думал: "Лишь бы выжить"; выжить и спастись не от раковой смерти – это было невозможно – а от самоубийства.

И за несколько минут до смерти, когда над ним уже стояла, что-то жуя и поглаживая свой живот, самодовольная врачиха, он, закрыв глаза (чтобы не видеть исчезающий мир), думал: "Только бы не повеситься", и нелепое, смрадное сознаньице того, что он избегает моментальной смерти от самоубийства, отдаляя тем самым, хоть на минутки, неизбежную смерть, наполняло его душу сморщенной, патологической, как безглазый выкидыш, слабоумной радостью; радостью, которая надрывно и жалко пульсировала среди безбрежного мрака и хаоса. Он тихохонько пел (что-то идиотское и потаенное), глотал слюну, чтобы почувствовать теплое; гладил трясущиеся от страха ножки; иногда закатывал глаза и вспоминал, что мир прекрасен. Быстро пролетели его последние мгновения.

ДНЕВНИК МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА

Это был молодой человек лет двадцати пяти, уже окончивший институт и работавший в проектном бюро. Но вид он имел пугающе-дегенеративный. Впрочем, заметно это было только нервным, повышенно-чутким людям, а большинство считало его своим. Для первых он скорее даже походил на галлюцинацию. Но галлюцинацию злостную, с ощеренными зубками, и упорно не исчезающую. Бледностью лица он походил на поэта, но глазки его были воспалены злобою и как бы вздрагивали от катаклизма блуждающего, судорожного воображения. Ручки он все время складывал на животике, так и ходил бочком, прячась в свою дрожь и тихость. Иной раз очень ласковый бывал, но после приветливого слова часто вдруг хохотал.

Вот его записи.

11-ое сентября. Дневничок, дневничок, дневничок... Люблю все склизкое, потайное. Особенно свои записи. Ведь я так одинок. Храню их под матрасом в мешке; часто поглаживаю тетрадочку; если нужно взять ее с собой, то кладу в карман штанов, чтобы щекотало член.

Больше всего я ненавижу удачников и человеков счастливых. Я бы их всех удавил. Когда я вижу, что человеку везет: купил машину или хорошенькую женщину, написал книгу или сделал ученое открытие — первая моя мысль: застрелить. Руки сами собой так и тянутся к автомату.

В своих самых радостных снах я видел себя в ситуациях, когда я могу всех безнаказанно убивать. Прямо так мимоходом — идешь по улице, не понравилось тебе лицо — и бац, из пистолета, как свинью, закурил и пошел дальше, как ни в чем не бывало. А милиция тебе только честь отдает.

Приятные сны. Я от них всегда потный от счастья вставал. Дневничок, дневничок, дневничок.

Но в одном каюсь — на самом деле никого еще я не убивал и даже не подготовлялся. Труслив я, конечно, и слишком здрав рассудком, чтобы рисковать. Но не только в этом дело. Я ведь — между прочим — очень религиозный человек. Даже Бердяева втихомолку по уборным читал.

Греха-то я, вообще говоря, не очень боюсь: грех, это по-моему, просто выдумка, но вот от прямого душегубства я почему-то воздерживаюсь. Есть у меня от моей религиозности такая слабость. Уж очень жуткая, иррациональная вещь — человекоубийство; как это так: жил человек, мыслил, переживал, и вдруг его нет — и все по твоей вине; а задницей своей — большой, отекшей и в белых пятнах — я, потея, чувствую, что за убийство на том свете или где-нибудь еще обязательно возмездие будет. Именно за прямое убийство, помаленьку мы все друг друга убиваем. И этой расплаты я больше всего боюсь, не как реальности — не очень-то я этому в конце концов верю — а как мысли. От одного представления о неснимаемых муках икать хочется, и водочку, в уголке, у помойки лакать... Пока жив, прости, Господи... Так что убийство не подходит для моего

характера. Зато как я судьбу благодарю, когда она кого-нибудь умерщвляет. Особенно, ежели молодых да по пакостной, мучительной болезни... И самое главное: не по моей вине, не по моей вине... Я тут не при чем, с меня не спросится; я только в сторонке стою, ручки потираю и злорадствую... Хорошо, знаете, быть смертным, земным человечком, безответным таким, тихеньким. Сало кушать, Бога хвалить, путешествовать. С дурачка и спроса нет.

12-ое. Разболтался я вчера, а о делах ни пол-слова. Очень люблю я все мелочное, гаденькое. Мелочью и суетой человека совсем сбить с толку можно: он даже о бессмертии своей души позабудет. Одна старушка помирала, так я ее заговорил: то да се, то да се, пятое и десятое... Сколько галок на ветке, почем гроб стоит, да как бы не обмочиться. Она только напоследок, минуты за три, спохватилась: "конец". А я говорю — какой же конец, бабуля, а бессмертие души?! Она ахнула: "Ах ты, Господи, а я и позабыла... Совсем запамятовала".

С этими словами и ушла.

Дневничок, дневничок, дневничок... Хи-хи... Я и для себя мелочное люблю: это, по-моему, особый вид бессмертия, паучий, и в мелкой, мелкой такой сетке, так что даже собственного лица не увидишь... И хорошо... А то от заглядывания в самого себя — и получаются все ужасы.

Но любовь моя к мелкому — это одна сторона; другая сторона — в удовольствии.

Есть в моей душе такое темное, сырое дно; и оно от радости, как болото, шевелится и пар до мозгов испускает, когда удовлетворяю я свою потребность в несуществовании; несуществовании — разумеется, других людей. Не убийство. А так — обходное, пакостное, вонючее и страшно веселое, как длинный, бесконечный ряд бутылок.

Прежде всего я толкать люблю; в любом месте – на улице, в метро.

Доцент биологических наук Тупорылов, упившись со мной кориандровой водки, на ушко мне сообщил, что по его подсчетам, каждый толчок, пусть суетливый, ненароком, но даже вполне здоровому гражданину убавляет жизнь на 10-20 секунд. А ежели товарищ больной, то мимоходом даже на многие годы сократить можно.

Толкать я наловчился, как бес; но в этом деле пропорция нужна – не всех подряд сшибать, а то за хулиганство примут.

Делаю я обычно вид, что спешу; особенно удобно это на станциях, на перекрестках, где скопление. Выбираю я, в основном, старушек или инвалидов: так больше вреда. Толкаю сильно, но не слишком, и поэтому всегда умею обойтись, что нечаянно. Есть толчок особо злостный, в самые больные места – я во все детали вошел; есть толчок с психологией – это, когда человек стоит глубоко задумавшись, уйдя в себя; очень приятно мне таких толкать: не уйдешь в себя, дружочек; вот тебе кулак от суровой, трезвой действительности. А такой срыв – уж я в этом уверен! – в 10-20 секунд не обойдется.

Можно просто наступать на ногу или пятку (я специально очень здоровые, увесистые башмаки ношу); здесь соль в резкой, пронизывающей боли; выбираю я для этого дам или детей: они наиболее чувствительны.

Но в целом все эти нюансы сочетаются: ни без психологии, ни без боли в нашем деле не обойдешься. Важную роль играет неожиданность. С легкой дрожью, внутренне повизгивая, я разбегаюсь как бы спеша (маска всегда нужна) и – бац; очень сладка мне первая ошеломляющая судорога от неожиданного удара; и ведь интересно – кричат

вслед с такой ненавистью и отчаянием, как будто ребенка у них убили; нервы все горят от срыва; хорошо ломать внутреннюю психику людей. Убегаю я быстро, с деловым видом, как будто страшно занят. Портфель всегда при мне. И всегда проходило. Но важна цепная реакция. В душонке моей ликование и упоенность. Потом, когда все укладывается, нового нахожу; затем еще; и так все время купаешься в наслаждении и отмщении. Это ведь закон: если человек не может быть сам счастливым (а большинство к этому органические неспособно – в этом я уверен), то единственное, чем можно себя компенсировать – сделать несчастными других. В этом я и вижу свою специальность и смысл жизни.

... А годка два назад – записную книжечку завел: все свои толчки отмечаю. Количественно и некоторые индивидуально. Это тех, про которых считаю, что много жизни отнял.

Общий подсчет получился феноменальный – аж сердце екает – десятки лет я у граждан отобрал.

15-ое. Есть у меня удовлетворения полегче, позабавней – не все со смертью в кошки-мышки играть.

К примеру, люблю я, когда меня спрашивают (особенно иногородние) как проехать, отвечать обстоятельно, подробно. И указать, разумеется, лживый, можно даже сказать, противоположный адрес. Иной раз руку пожму. По себе знаю, как человечек нервничает, если не может найти то, что нужно. Казалось бы, пустяк, а может довести до кровоизлияния.

16-ое. Мы очень многое упускаем из виду. У меня глаз острый, наметливый: сколько есть мелочей, которые приводят к инфаркту. "Надо все использовать", – говорил Наполеон.

Товарищи спрашивают меня: почему ты, Виктор, не женишься?

Им я не могу сказать. А дневнику скажу. К слову: почему я веду дневник?! Потому что он – мой единственный друг.

А почему единственный друг? Очень просто. Да оттого, что только ему я не в силах причинить подлость, нельзя же сделать больно бумаге или собственным мыслям. А если б живое было – я бы обязательно сподличал, а какая же дружба при подлости.

Итак, о жене. Выберу я себе в подруги – только такую же тварь, как и я. В этом и загвоздка... Такие ведь человечки о себе не кричат на каждом перекрестке, а где-нибудь под столом дневники ведут.

Любить я ее буду до безумия. Мне кажется, она должна быть крупна телом, очень прожорлива; одета помято, даже грязно; кожа нежная, сальная; волосы слегка всклокочены от грез; глаза глубокие и затаенные.

... Живет она в уголку, постелька пышная, мягкая, она тонет в ней. На подоконнике обязательно цветочки. Где-нибудь на тумбочке – олицетворение кошмара, идол...

Да разве такую найдешь. Познакомился я тут с одной застаревшей доносчицей. Но не то. Для пробы дал я ей дневничок почитать. А с ней истерика... Я ей говорю: ”Ишь, сколько людей загубила, а мыслей – пугаешься”. А она отвечает: ”Так я думала, что гублю для блага; а в мыслях я всегда была чистая”...

17-ое. Брр! Как радуется душа чужому несчастью.

18-ое. Мои соседи напоминают мне хорьков. У меня всегда такое впечатление, что у них два зада; лишний – сама голова.

Есть, правда, две злобные, как столетние крысы,

старушки; и к тому же враждуют между собой. Но злоба настолько уродливо въелась в них, что превратилась в самомучительство. Она преследует их день и ночь; они грызут себе руки...

Началось все с того, что одна из старушек долго не могла достать пшена; обходила все магазины, простояла в очереди, и пшено как раз кончалось у нее под носом. С горя она заболела. И услышала, что другая старушка страшно этому обрадовалась. А обрадовалась-то она не по злости, а просто чтоб себя утешить: она также весь день простояла в очереди за импортным гусем и не достала.

Но с этого момента заболевшая старушка стала мстить; и все шло у них в таком духе: кто друг дружку переживет. Каждое утро старушки норовили встать одна раньше другой, чтоб показать, что живы. Подглядывали в щелку, когда приходил врач. Когда "пшенная" чем-то отравилась, другая напилась и пустилась в пляс. Я месячишко-другой жил этой ссорой. Я понимал, что переживу их, и играл роль трётьего, насмешника, затаенно радуясь, что они не видят своего главного врага. Я всячески натравливал их друг на дружку, умиляясь при мысли, что от неполноценной злобы они скорее подохнут.

Один раз я распустил сплетню, что Петровна совсем плоха. Так пришлось взять свои слова обратно, ибо Петровна настояла, чтоб я при другой старушке опроверг домыслы. И показала ей язык. Я плюнул и не стал принимать в их смерти большого участия. Но знаю – момент придет сам собой.

20-ое. Утром удалось харкнуть в кастрюлю соседа.

22-ое. Вчера звонил по телефону матери сослуживца. Приглушенным, измененным голосом сообщил, то есть наврал, что ее сын – попал под машину и лежит в морге больницы Склифасофского.

Сегодня сослуживец не вышел на работу – наверное, с матерью было плохо.

24-ое. Сильно толкнул на платформе старика. Убегая, подглядел, что старик долго держался за сердце.

26-ое. Шепнул маленькой девочке, идущей из школы, что ее папа отдавил себе ногу.

27-ое. Тусклый и скучный день.

Толкал очень неудачно. Кто-то обругал матом.

После работы ничего не лезло в голову; так отупел, что не нашел ничего более гадкого, чем пошло звонить по телефону, через каждые две минуты, какому-то идиоту.

Ужинал. Побродил. И с горя зашел в кино.

28-ое. Приятная новость: неподалеку молодая женщина болеет, безнадежно, раком. Но от нее тщательно скрывают. Она убеждена, что выздоровеет, что у нее язва. Сегодня написал ей анонимку, очень убедительную, что у нее рак и жить ей осталось недолго.

30-ое. Обмочил ботинок соседа.

2-ое октября. Подхватил легкий гриппок; чихал на кухне в чужие сковородки.

4-ое. Опять неудачно толкал. Нудный день. Видел одного человека, показавшегося мне счастливым. От этого целый день выло в башке. Ничего не получалось. По злобе я чуть себя не открыл. Ночью, бредя по коридору, в сортир, – заорал благим матом, чтоб перепугать соседей. Кто выскочил, кто на крючок заперся. Я сказал, что увидел мышку.

Сегодня испортилось настроение оттого, что сосед купил машину. Моя бы воля – я б его подстрелил.

В душе – смурно, смурно, но радостно от постоянных мелочей; ничего за ними не видишь; то пожрать – в очереди стой; то за колбасой – на автобусе съездишь, то пуговку надо

зашить; то просто – мыслей нет. И мелких пакостей можно творить видимо-невидимо. Правда, тут тайком прослышал, что один старичок только что вылез из больницы после инфаркта. Хочу его крепко толконуть. Если наука права – эффект будет брызжущий, может быть, смерть.

Но без мелочей, без въедливых – все не то. Ожерелье должно быть. Дневничок, дневничок, дневничок... Память у меня, невидимый, ослабла... Списочек надо мелочей составлять. Как толкану старика, в этот же день – нужно: 1) удавить котенка Лебедевых, 2) плюнуть в чужую кастрюлю, 3) испугать старушку, 4) подглядеть в щелку, 5) пустить по квартире две сплетни, 6) написать анонимку Брюхову, 7) ....

ПЕТРОВА

— Семен Кузьмич сегодня умер.

— Как, опять?!

В ответ всплеснули руками. Этот разговор происходил между двумя темными, еле видимыми полусуществами в подворотне московского дворика.

N.N. со своей дамой подходил к огромному зданию ЗАГСа. Дама была как будто бы как дама: в синем, стандартном пальто, в точеных сапожках. Однако ж, вместо лица у нее была задница, впрочем, уютно прикрытая пуховым, женственным платочком. Две ягодицы чуть выдавались как щечки. То, что соответствовало рту, носу, глазам и в некотором смысле душе, было скрыто в черном заднепроходном отверстии.

N.N. взял свою даму под руку, и они вошли в парадную дверь ЗАГСа.

В залах, несмотря на ослепляющий свет и помпезность, почти никого не было. N.N. наклонился и что-то шепнул своей невесте. Первой, кто их по-настоящему увидел, была толстая, поражающая своей обычностью секретарша, сидевшая у столика в коридоре.

Увидев даму N.N., она упала на пол и умерла.

Жених и невеста между тем продолжали свой путь. Угрюмо сидящие на скамейках редкие посетители не замечали их.

Правда, когда они прошли, один из посетителей встал, выпил воды и сказал, что он уезжает.

В одной из комнатушек надо было выполнить предварительные формальности, в другой, просторной, в цветах и портретах, проходила официальная церемония.

N.N. с дамой вошли в первую. Позади них, между прочим, шли совершенно незаметные субъекты: свидетели. Гражданин Васильев, который почти один управлял всеми этими делами, взглянул на даму.

Взглянул, и не мог оторвать взгляда.

Молчание продолжалось очень долго.

– Ну что ж, когда это, наконец, кончится? – спросил N.N.

Васильев кашлянул и попросил подойти поближе. Так нужно было чисто формально. Он действовал автоматически.

Но в душе его царил абсолютный страх. Он протягивался к нему даже из окон. Не только мадам вызывала страх, но и весь мир через нее тоже вызывал страх.

"Не надо шевелиться, не надо задавать глупых вопросов, иначе конец, – подумал Васильев, – у меня дети".

– Фамилия?! – для бодрости нарочито громко выкрикнул он.

– Калашников Петр Сергеевич, – ответил N.N.

Его дама издала из заднего прохода какой-то свист, в котором различимы были слова: "Петрова, Нелля Ивановна".

Васильев похолодел; тело замораживалось, но душа вспоминала, что мир ужасен. "Так-так", – мысленно стучал

зубами Васильев и никак не мог разыскать карточки новобрачных. Искал и не мог найти.

— Когда же это, наконец, кончится? — холодно повторил N.N.

Васильев все же нашел, что нужно: предварительное заявление и т. д.

— Вы не разлюбили друг друга с тех пор? — взяв себя в руки вдруг, спросил положенное Васильев.

— Нет, — холодно ответил N.N.

— Тогда прошу в эту комнату, к Клименту Сергеичу.

N.N. с Петровой двинулись, за ними молчаливые свидетели.

— Товарищи! — опрокинув стол, вдруг выкрикнул Васильев, — а ваши паспорта!

— Нелля, покажи ему, — сказал N.N.

Петрова повернулась и медленно пошла навстречу Васильеву. Подойдя поближе, она сунула руку себе на грудь, во внутренний карман куртки, и вынула паспорта. Мутно взглянув на нее, Васильев почувствовал, что еще несколько минут, и он уже не он.

Впрочем, паспорта были действительные. И даже на фотокарточке Петровой вместо лица была задница. Со штампом.

... Когда N.N. с дамой скрылись за дверью кабинета Клемента Сергеича, Васильев рухнул в кресло — и вдруг навзрыд, по-огромному, истерически разрыдался.

Он вспомнил, что его дочь скоро умрет от цирроза печени и что, когда он родился — по рассказам — стояло ясное, свежее, небесное утро, а он так кричал, как будто уже давно — тысячелетия или секунду назад — жил в каком-то мире, связанном с этим, но в котором лучше тоже не появляться. А его как мячик выталкивали из одного мира в другой...

Между тем Климент Сергеич, одиноко скучающий в своем кабинете, взглянул на N.N. и его даму. "Ничего не произошло", — тотчас подумал он, закрывши глазки. Потом опять открыл. Повторив эти шуры-муры раз семьдесять, Климент Сергеич вдруг убедил себя, что задницы нет. Нет, и все. Нету.

— Дорогие друзья! — подскочил он со своего кресла с распростертыми объятиями. — Как я рад видеть искренне влюбленных! Милости прошу к нашему шалашу.

Климент Сергеич все же явственно видел зад в пуховом платочке, но умственно считал, что на самом деле это не задница.

Чтобы еще больше убедить себя, он резво подскочил к Петровой и громко чмокнул ее в ягодицу. Климента Сергеича несколько сконфузил только хорошо знакомый, неприятный запах. Впрочем, запах был настолько мертвенен, как будто происходил с предполагаемого того света.

— Итак, друзья, — продолжал Климент Сергеич, — начнем красочную часть.

Он даже всплеснул ручками в потолочные небеса, и обо всем забыл, включая формальности.

— Петр Сергеич, — расфамильярничался он, обращаясь к N.N., — вы попрежнему любите Неллю Ивановну?

— Очень, — сухо ответил тот.

— Я так и думал, так и думал! — расхохотался Климент Сергеич, которому вдруг стало не по себе. — А вы, Нелля Ивановна? Как, не амурничаете? — И он весело подмигнул ей.

Не стоит и говорить, что при других обстоятельствах Климент Сергеич никогда не позволил бы себе такое нелепое поведение. N.N. неожиданно, почти сверхъестественно оживился и сел на стол прямо против Климента Сергеича.

— Она у меня девственница, скромница такая... знаете... хе-хе, — дребезжаще просмеялся он.

— Вы знаете, — разоткровенничался в ответ Климент Сергеич, пытаясь завязнуть в каком-то бессмысленном разговоре, — а у меня жена не была девственница. До меня она сочеталась... Вы никогда не поверите...

— Ладно, хватит, — грубо оборвал его N.N., слегка ударив по кисти руки. — Оформляйте документы... Климент Сергеич...

— Товарищи, я за... — спохватился последний.

Очень быстро все было закончено.

N.N. со своей супругой и свидетелями проделали обратный путь, к выходу. В руках у Петровой был большой букет цветов.

Тем временем — как только супруги вышли — в кабинете Климента Сергеича зазвонил телефон, и кто-то резким, металлическим голосом сказал ему, что он — то есть Климент Сергеич — умер.

N.N. с Петровой были уже на улице. Свидетели тут же отлучились.

— Я так и знала, что ничего не получится, — свистяще произнесла она.

N.N. пожал плечами. Петрова внезапно остановилась, огляделась кругом и вдруг, словно подумав, мгновенно исчезла, растворясь в пустоте.

N.N. закурив, быстро, по-деловому пошел вперед, к трамвайной остановке.

ЯМА

Утро упало в тихую пустоту улиц. Но что изменится от этого в моей душе... Всю жизнь меня жгло одно стремление: к смерти... Только в исчезнувшем раннем детстве я любил жизнь. Стук моего сердца наполнял тогда мое сознание, и я не знал ничего, кроме этого стука. Мое сердце казалось мне мячиком, с которым можно затевать вечную игру... А потом: смерть повела меня, как слепого ребенка... Это началось с того, как стали тяжелеть мои мысли. Раньше они были светлые и служили определенной цели. А теперь я понял, что они сами по себе и не имеют предназначения. Поэтому я очень не люблю думать. А когда нет мыслей, и в сознании чисто, чисто, как в душе птицы, особенно ясно видишь поток внутренней силы, влекущей тебя помимо твоей воли к своему берегу – к смерти. Так вот, то, что находится внутри нас, наше сокровенное!

С этих пор я особенно полюбил – не столько саму смерть, иначе я бы давно ушел, сколько сознание смерти.

Именно сознание смерти, потому что сама смерть – что это такое?! "Когда нас нет – есть смерть, когда есть мы – нет смерти" – а мысль о смерти, о, это совсем другое, это

жизнь, это визг, это слезы, и я настаиваю, что надо жить во смерти, каждую минуту сознавая ее, копошась в ней, как в любимой женщине. Человек, быть может, и есть всего-навсего мысль о смерти.

Итак, сознание смерти заменило мне жизнь.

Вот и сейчас, в этот весенний день, в этом раскачивающемся мире, как ветер, я вышел на улицу, чтобы смерть опять повела меня в свою утреннюю прогулку. И все вокруг опять стало таким хрупким и потусторонним, как будто стеклянная кровь пролилась по ветвистым жилам мира... О, Господи, заверну лучше на мост, к реке... Я ловлю встречных людей в уютное гнездышко моих мыслей о гибели. И они становятся не такими, какими кажутся на первый взгляд: женщина, покупающая в ларьке капусту – стоя мочится тихими спазмами страха. Я люблю ее тело, потому что оно вздрагивает от прикосновений смерти... А девочка, оборванная, замусоленная девочка, разве она бежит играть в классики – нет, она просто скачет навстречу своему уничтожению.

И ее тело, напоенное жизнью, еще больше напоено Великим Отсутствием.

Это Отсутствие сказывается в каждом ее движении, в ее застывании, в ее мольбе...

Бедная скелетная крошка! Поцелуй свою будущую могилку. Да, да!.. Я еще в детстве – а жизнь уступила в моей душе смерти, когда мне было семь лет – очень любил играть вокруг своей будущей могилки.

Я строил ее из песка или глины, ставил жалкий детский крестик из палок, и играл около нее в прятки. Мама порола меня за это... Но хватит о прошлом.

Особенно я люблю есть, думая о смерти. Я прохожу мост, захожу в разукрашенную хохотом столовую... Хорошо

в уголку пить сок и знать, что ты скоро растворишься в неведомом, как темный сок растворяется в тебе.

Господи, посмотреть бы на мух у стены...

Мелькание, мелькание и мелькание.... Сознание смерти делает меня легким и нетронутым, и я прохожу сквозь мир, как сквозь воздух. Хорошо жить умершему. И мысли становятся, как звон колокольчиков.

Представьте себе, потому что я мертв, я сделал карьеру. Хотя мне всего 34 года, но я заведую отделом. И это потому, что мне все безразлично. Сознание смерти легко проводит меня сквозь жизненные сгустки, дальше, дальше, туда, к концу. Бедненькие живые поросята, мои сослуживцы, как они извиваются, стараясь добиться лучшего положения. Но у них ничего не выйдет. Хе-хе... Они вертятся вокруг себя и кусают зубами воздух. Потому что у них нет той холодной вечной силы – сознания смерти. И мне безгранично все равно, кем я буду, а им – нет...

Вспоминаю, что даже утром, в постели, тронутый пробуждающейся влагой жизни – с первым же рассветом сознания! – мысль о смерти обжигала мой зад.

Наконец, я допиваю свой сок. Я всегда очень аккуратно одет, как покойник, в наглаженном, выхоленном костюме, в безупречном накрахмаленном воротничке и при галстуке.

Смерть в отличие от жизни должна быть прилична.

И все же жизнь хороша! Не надо думать, что я не люблю жизнь. Просто смерть я люблю еще больше.

А жизнь-то я люблю скорее, не саму по себе, а в ее связи со смертью.

Вот и сейчас, как приятно слушать болезненно-родной, до ужаса всепоглощающе-реальный стук своего сердца и знать, что оно остановится. Да, да, не будет всепоглощающей реальности!

Тсс-тсс! Вот я толкаю ботинком ленивую кошку. Солнце бьет мне в глаза. Здравствуй мама! Где ты сейчас, после своей гибели?! Пока.

Я иду дальше. Все сторонятся моего безупречного костюма.

Должен сказать, что за мою духовную карьеру я очень многое и разнородное перепробовал. Ницшеанство, богостроительство, экзистенциализм... и так далее, и так далее, не перечесть. Сознание смерти пряталось где-то в глубине, пока я пробовал... Но... Какое-то странное недоверие ко всему, что существует, отталкивало меня от "спасения"... "А не послать ли все к черту!" – думал я.

И темная, иррациональная сила выбрасывала меня подальше от всего, туда, вглубь, где ничего нет.

Почему мне все, в том числе религиозные пути, хотелось послать к черту?.. Я овладевал любым видом "спасения", но после того, как овладевал им, сразу юркал куда-то в сторону, в черный ход!

И почему мне был так приятен самый безысходный пессимизм?? Откровенно говоря, самое скверное, что я испытывал в жизни – это чувство счастья. Испытывал я его очень редко и всегда у меня бывал тяжелый осадок на душе.

Мне становилось не по себе, явственно хотелось сбросить эту тяжесть с сердца.

Наоборот, когда я знал, что все кончено, когда ни в личном, ни в мировоззренческом плане не было никакого спасения, когда я сознавал, что человечество – обречено, а жизнь – абсурд, галлюцинация Дьявола, именно тогда во мне все было так приглажено, крепко склеено, что я даже физкультурой на радостях начинал заниматься.

Может быть, я так ненавидел жизнь, так хотел гибели всеобщему, что ради этого готов был поступиться личной гибелью?!

Или мне не хотелось торжества какого-либо "спасения", потому что это было бы торжество идеи извне надо мной; а я никак не мог этого допустить; лучше уж тотальная, всепожирающая яма, где все равны перед смертью.

Наконец, может быть, моя любовь к себе настолько безгранична и абсолютна, что в жутких рамках земной жизни она никогда не сможет реализоваться полностью, отсюда и раздражение, и болезненное стремление найти выход там, по ту сторону существующего. С другой стороны, сама жизнь так третирует эту любовь к себе и загоняет в угол, что неизбежно нарастает протест.

Поэтому, возможно, что самоубийство – высшая форма любви к себе. Между прочим, меня всегда интересовало самоубийство из-за пустяка: вот, допустим, вам наступили на ногу в троллейбусе, а вы – из абсолютной любви к себе – не стерпели, пошли и повесились где-нибудь в подворотне напротив троллейбусной остановки. Ведь отомстить самому наступившему – это далеко не абсолютно, а скорее даже наивно, ведь факт вашего "ранения" не исчезнет, и мировой закон, по которому вам могут причинять боль, тоже не исчезнет, если даже вы застрелите "обидчика". Поэтому когда вам наступят на ногу – рекомендую повеситься, и как можно скорее, с порывом, чтоб опротестовать все мировые и даже физические законы! Из исступленной любви к себе-с! А недурно-с.

Ну, хватит об этом, Причины стремления к смерти неисповедимы. Не берусь определить точно: темна вода. Но последнее время я все "спасения" уже окончательно отбросил, и меня все неудержимей стало тянуть в яму.

Часто я сидел перед зеркалом и рассматривал собственное лицо... Тсс! Тсс!.. Я сейчас переживаю это, как настоящее. Вот линии бровей, вот лоб, вот глаза, это ведь не

брови, не глаза, не рот, а я, я, я, я... Но мое "я" хочет убить себя... Убить... убить... Опять влечет та самая, скрытая сила... Унести... Унести себя... Куда-нибудь подальше... туда, в яму... Неси меня мое "я"... Ау... Ау...

Не знаю, чем бы кончились эти сцены... Один раз меня прервал телефонный звонок из министерства.

А потом, потом... Потом появился новый, чудовищный по своей остроте и жалу вид самоубийства: я влюбился... Эта смерть длится и сейчас... Зовут эту девочку Наташа... Почему именно она? Потому что она наиболее соответствовала моим представлениям о смерти.

У нее был очень изломанный, болезненный вид – и собственный мир, тайный, жестокий, немного мне близкий...

И этого было достаточно, чтобы возбудить абстрактное, нездешнее чувство; относительная духовная близость дала первый толчок, а там чувство уже существовало само по себе и именно в нем я нашел то, что искал: смерть... Я совсем потерял связь с видимой реальностью... Чувство уводило меня далеко от жизни; оно напоминало пирамиду, уводящую в черную бездну неба; какое-то заигрывание с непостижимым.

Часто во время странных вечеринок, забившись в угол, не понимая, что происходит, я следил за Наташей... И тайная недостижимость любви – любви в высшем смысле этого слова – мучила меня... Я чувствовал, что мое "я" выпито каким-то странным, трансцендентным чудовищем, или отторгнуто от меня и поднято над миром; поднято в какую-то стихию Недостижимого.

И именно за это чувство Недостижимого, вдруг возникшее на простом земном пути в будущем, может быть, самой банальной любовной истории, я сладостно-мертво уцепился.

Это легкое, мимолетное прикосновение мистической тайны, этот поданный знак об ирреальном говорил мне о том, что вот теперь, наконец, надо свести счеты с жизнью. Мое чувство, до дна обнажившее тщетность всего лучшего на земле, ясно говорило мне: пора.

Надо было крепко, со здравым рассудком, рационально держаться за этот момент.

Ведь могло перепутаться: девчонка была нежна, одинока, мог бы завестись романчик, и тогда знак исчез бы, как видения монахов. (Ведь я, что совсем странно, и по-человечески, то есть не только как вид смерти, любил и люблю Наташу.)

Я тогда так и положил: чтобы растянуть самоубийство надолго, чтобы вдоволь наумираться, нам надо встречаться пореже. А потом взрыв — и конец.

Да и началась-то моя любовь недавно: всего месяца три назад... Но Наташенька почувствовала кое-что, хоть я и пытался скрыть... Ах, как играет моим сердцем черная, сумасшедшая сила... Бейся колокол... Она потянулась ко мне... Робко, одиноко и нервно... Точно метнулась в танце с самой собой... Но ей-то, наверное, хотелось любви, пусть и духовной, но и человеческой, полнокровной, а мне — только смерти.

Психологически я заглушал ее первый, безгранично-одинокий, женский писк; кажется, раньше ее сильно обижали как женщину, относясь к ней только грубо-физически... И вот теперь ей казалось: появилось что-то настоящее, полноценное, радостное, но я заглушал в ней это в самом зародыше уже с другой стороны, со стороны смерти. Я холодно останавливал ее своим пустым, безжалостным взглядом... В самом начале... Еще не было никаких движений, могущих разрушить ирреальное... Еще можно было уме-

реть... О, ее тело казалось мне сплетением заколдованных символов, замыкающих ходы... Руки, белые пальчики, волосы – о, разве это просто руки и волосы?!..

Сейчас я подхожу к своему жилищу... Какая-то девочка бросила мяч и не может отвести глаз от моего безупречного костюма... Вот и моя комната... Мои детские портреты... Букварь, который вечно лежит у меня на столе... Я сажусь около будничной кошки... Проходит час, может быть, два... Вдруг звонок: резкий, телефонный... Подхожу... Ее голос... Первый раз я слышу ее голос по телефону. О чем она говорит?.. Я ничего не понимаю... Но я слышу только оторванный от ее плоти голос, голос, существующий сам по себе, неиссякаемый, мистический, полный внутренних бездн и страхов... Почему он так уводит меня?... И куда?.. Куда?! Опять, опять она говорит... Как чувствуется пропасть пространства... Между кем: ею и мною? Или мною и знаком?!.. Куда этот голос уводит меня?.. Все дальше и дальше, с каждым звуком, с каждым дрожанием – туда, туда... Как будто он удаляется... Я бросил трубку, прерывая. Итак, теперь все ясно: пора.

– Наташа спасла! – крикнул я в одинокие окна комнаты.

Вышел на улицу... Разумеется, – как я ждал этого! – она умерла. А со мной говорил ее голос, блуждающий по миру после ее смерти...

Странное, но определенное состояние родилось в моей душе... Все пропало... Мир выкинут из моего существования... Я совсем не думаю о Наташе... Я думаю только о себе и иду по состоянию, родившемуся от голоса... Наконец-то, наконец-то... Но что наконец-то?.. Я просто иду... По мостовой... По троллейбусу... Дома и люди не мешают мне... О, моя жизнь, о, мой мир, почему вы раньше не были

такими одинокими? Почему раньше я думал, что вокруг меня существуют?..

Я вхожу в метро. Как хорошо в колыбели смерти – в колыбели моих мыслей – идти вперед... Мое состояние ведет меня сквозь хитроумную сетку реальности... Вот я у края пропасти, на платформе... Ясно и чисто в душе моей и ничего нет... Я шагаю... туда, в пустоту...

. . . .

. . . .

. . . .

А вот теперь я могу продолжить мой рассказ. Если не считать промежутка пустоты, это было как переход в другую комнату, находящуюся внутри меня. Правда, немного подавленно и странно, точно первый свет бьет в глаза родившемуся ребенку... И все-таки до болезненности другое, по сравнению с тем, в земном мире... Единственно хорошо, что пока бьется и существует мое родное истерическое „я"... Чужие мысли светятся, преломляются, играют своим бытием, уходящим друг в друга... Как оживленные лучи света... Их много, этих мыслей умерших людей... Я "вижу" их не чувственно, а своим сознанием; представьте себе, что чьи-то мысли светятся, но не для глаз, а для ваших мыслей или для вашего "я"...

Видны какие-то мрачные сгустки тревожащей однозначности... Это бессмысленный хаос человеческой памяти, темный, как грозовая тяжелая туча, плывет мимо моей души... Теперь-то я могу сказать вам все. Здесь нечего искать разгадки мира или общения с Богом. Здесь все так же глухо заколочено, как и в земном мире. И та же странная иррациональная воля, только еще более оголенная, ведет вас к концу... Нет милых частностей, запаха цветов, плеска воды... Все обнажено и подчинено всеобщему. Я еще могу продолжать мой рассказ, но скоро наступит

и мой черед... Так же как на земле постепенно распадается на части и растворяется в окружающем наш труп, так же и здесь распадается душа. Разваливается, как гниющий череп... Память, воображение, мышление, воля... Взятые по отдельности, они не представляют духовной жизни, так же как оторванные куски тела только напоминают о некогда жившем человеке... А нас уже нет... Хе-хе... Сейчас со стороны мне даже интересно наблюдать, как распадается человеческая душа... Как будто присутствуешь при конце света... А скоро наступит и моя гибель, ибо, разделенный, я потеряю себя...

Мне тут жутко... Когда же наконец это произойдет со мной?.. Как странна мне теперь наша бьющая мимо цели земная жизнь... С ее заботами, вызовом и пригвождением к ненужному.

...Но одна все-таки тоска, как дальний отзвук земного мира, опять гложет мою душу... Моя любовь, ирреальная, таинственная... Ведь что-нибудь она значила? Я уже говорил, что и по-человечески, с верой в победу добра, любил Наташу... Но там, на земле, любовь как вид смерти заглушала все... Теперь же, когда факт гибели налицо и все окончательно ясно, здесь – на краю этой бушующей бездны – я взываю к Богу, к добру и к моей любви... Наташа, Наташенька, там я никогда не верил в благое, потому что где-то в глубине все смеялось у меня над этой верой, но я верил в тебя, потому что ты... была предо мною и ты мне заменила Бога и добро... Приди, приди сюда, чтобы свершилось чудо и я, озаренный тобою, понял, что все хорошо, все нужно, даже этот крутящийся вихрь уничтожения... Ведь на земле ты никогда не обижала меня, даже в мыслях... Приди, спаси...

Ха-ха-ха!.. Даже здесь, в загробном мире, есть экстаз, момент веры. А сейчас мне все тяжело и противно. Я не

знаю, сколько времени прошло на земле, тут другие единицы существования... Но вот блеснул маленький огонек — это пришла сюда Наташа. И как быстро, как чудовищно быстро она распадается. Я еще жив, и даже записки вам диктую, копошусь, а она уже распадается. И даже меня не нашла... Мечется... В сутолоке сознаний-то разве найдешь... Я было вначале пискнул: Наташа... И дрожь по душонке слегка пробежала... Но очень быстро она распадается... Я даже не успею узнать, отчего она умерла: от рака, гипертонии или непроходимости кишок. И как, с кем прожила жизнь...

Скоро и мне конец. Вот когда эти записки оборвутся, так мне конец и будет.

Что же, что еще при жизни так влекло меня к смерти? Почему здесь, за чертой, так все обнажено и реально-метафизично; почему здесь нет теорий, систем, диссертаций, которые порывались бы все объяснить?!..

Ах, как страстно верили некоторые из нас, юные, что за гробом нас ждет разгадка жизни... А мне теперь — не то что эта, но и земная жизнь еще глуше и непонятней... Ухожу... Гибну... Не узнав ничего из всего, что жгло на земле, ничего о мучившем меня стремлении к смерти. Я не отказался бы от него даже сейчас, начав вторую земную жизнь, ибо в этом стремлении, особенно в форме любви, была заложена возможность выхода за пределы. Но что запредельно этому миру?

Наша земная жизнь? Наши клозеты?

Или, может быть, здесь нет потустороннего? Здесь все реально, как в яме?.. За что же тогда меня мучила на земле эта мистическая любовь-смерть? Где то, к чему она стремилась?

Теперь я, кажется, понимаю, что искать истинно потустороннее надо не по ту сторону жизни, а по ту сторону человеческого сознания... И то, что я принимал за стремление к смерти, может быть, было стремлением к новой, наверное, навеки недоступной сфере, существующей или не существующей где-то в стороне от обычного течения человеческой судьбы.

Какая же сила создала меня?.. Почему во мне она казалась моей, а по результатам — не моя, а чужая?

Что же в нас вечно? Не ум — ум ограничен; не душа, не индивидуальность — они слишком ничтожны для этого. Но что? Что? Неужели?!.. Нет, не может быть. Весь ужас в том, что в течение жизни я не открыл в себе то, что в нас действительно вечно; не увидел его, не познал, не соединился с ним! Пусть оно — скрыто в нас, почти непознаваемо, зачеловечно, но оно должно быть...

Прощайте... Мне — конец... Ненавижу... Сумма углов треугольника равна ста восьмидесяти градусам... Производная от sin x равна cos x...

РАЦИОНАЛИСТ

(Рассказ о детях)

У хмуренького, невеселого мальчика Вовы родилась сестра. Сестра, как сестра, толстенькая, розовая и мокрая, как пот от страха. И на Господа она не смотрела, а только дрыгала ножкой. Все живое суетилось вокруг нее: мама забросила бить папу кастрюлей по морде, а папа забросил свою карьеру. А бабушке Федосье перестали сниться ее сны про сумасшедших. Даже котенок Теократ стал почему-то побаиваться мышей.

Но особое изменение произошло у мальчика Вовы. Так это был простой, невеселый мальчик: он ни на что не обращал внимания, а кино считал выдумкой. Но с рождением сестры он стал понемногу настораживаться, точно случилось что-то большое, вроде прилета марсиан или венерян.

Ушки его теперь раскраснелись, он подолгу запирался в чуланчике, что-то вычислял, а когда все взрослые толпились вокруг сестры, забивался в угол и оттуда смотрел, как смотрит, например, собака на электрический двигатель.

– Вова так робок, что боится даже своей сестры-младенца, – говорил по этому поводу папа Кеша своему лечащему психиатру.

Но так как все были заняты своей девочкой Ниночкой, то Вову никто и не замечал. Даже котенок Теократ.

А между тем мальчик Вова беседовал со своей сестрой. Когда в комнате ненадолго никого не было, он подбирался к ее колыбельке и урчал.

Девочка Нина глядела на него ясно и доверчиво. Она, наверное, считала его истуканом, пришедшим с того света. И поэтому строила ему глазки. Но мальчик Вова подходил к ней не с добрыми намерениями.

Надо сказать, что колыбелька Ниночки стояла почти на подоконнике, у распахнутого окна. А этаж был седьмой. Дело происходило летом, и мама Дуся считала, что пусть дите обмывает свежий воздух. Она верила в открытый мир.

Однажды, когда все взрослые обступив Ниночку, верещали: "У, ты моя пуль-пулька, у-у, ты мой носик, у-у, ты моя колбаска", а на Вову даже не поглядели, не говоря уже о том, чтобы сказать ему что-нибудь ласковое, мальчик Вова так рассердился, что решил, когда все уйдут, тихонько спихнуть Ниночку на улицу, в открытый мир. Он еще раньше возненавидел сестренку за то, что ей все стали уделять внимание, а на его долю остался шиш. Но на этот раз его терпение лопнуло. Особенно его уязвило поведение папы Кеши. Уже с давних пор мальчик Вова считал папу Кешу – Богом и очень любил, когда Бог его согревает; теперь же, когда божество повернулось к нему задницей, мальчик Вова внутренне совсем зарыдал. Только никто не видел его слез, кроме крыс и маленьких домовых, прячущихся в клозете.

И вот, когда в комнате никого не осталось, мальчик Вова на цыпочках и оборотившись на свою тень, подкрался к люльке с Ниночкой. Лю-лю-лю, люлечка. Несомненно, мальчик Вова тут же спихнул бы сестренку в ласковый

мир, но произошла некоторая заминка. Не успел Вова приложить свои игрушечные, нежные ручки, чтоб опрокинуть дитя, как в последний момент вдруг заинтересовался ее личиком. Дите в этот миг было особенно радостно, и прямо улыбалось Бог знает чему, махая ножками.

— Ишь, точно мое отражение в зеркале, — заключил мальчик Вова.

— Но в то же время ведь это не я, — успокоился он.

Вовик ухмыльнулся и хотел было уже опрокинуть дитя, но в это время вошла улыбающаяся мама Дуся. Мальчик Вова кивнул ей и незаметно отошел в угол.

"Недаром говорят взрослые, что сразу никогда ничего не получается", — подумал мальчик Вова, засунув руки в карманы и делая вид, что рассматривает картинки.

Он был рационалист и любил доводить дело до конца.

— Ты надолго ли? — спросил он через несколько минут уходящую маму Дусю.

— За молоком, — ответила та.

На сей раз Вову не отвлекали всякие шалости.

Он ретиво подбежал к люльке и изо всех сил толкнул ее, как буку. Дите летело вниз как-то рассыпчато, все в белом белье, только ручонки вроде бы махали из-под одеяла. Вова настороженно наблюдал за ней из окна. "А вдруг не разобьется", — думал он.

Но дите, шлепнувшись, откололось и больше не двигалось. Вовику даже показалось, что лучи солнца непринужденно и разговорчиво играют на этой застывшей кучке. И она — эта кучка — словно веселится в ответ всеми цветами весны и радости. Он, пошалив, погрозил ей пальчиком.

Ну, а когда вернулись родители, то им стало явно нехорошо. Просто дурно им сделалось. Хотя все было вполне естественно. Мальчика Вову тут же спрятали в другую

комнату, чтоб не напугать. Бабушка Федосья ссылалась на свои сумасшедшие сны, папа Кеша – на ветер, а мама Дуся ни на что не ссылалась: она не помнила даже себя.

Но зато потом, через несколько недель, когда все угомонилось и очистилось, родители души не чаяли в Вовике. "Ты наш единственный", – говорили они ему. Жизнь его пошла как в чудесной сказке про детей. Все ухаживали за ним, одевали, давая волю ручкам, закармливали и дарили ласку, нежность и поцелуи. Мальчик рос и душой и телом. Только иногда он пугался, что кто-то Невидимый спихнет его с седьмого этажа, как он столкнул сестренку. Но ведь невидимое существовало и раньше, до того, как он ее спихнул.

"Все равно от невидимого никуда не денешься", – вздыхал мальчик Вова и продолжал наслаждаться своей жизнью.

ЛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ

Федор жил в угрюмой, до странности идиотской дыре где-то в гуще Москвы. Идиотизм, главным образом, выражался в окнах, которые смотрели на наблюдателя как выбитые глаза деревянного существа. Содержали Федора и его еще более непонятную сестру старики-родители, сбежавшие от них на другой конец города. Федор никогда не бил сестру, наоборот, часто задумчиво вглядывался в нее. Иногда молодые люди прогуливались по проспекту. Только был ли это проспект? Ната – сестра – часто отходила в сторону и мочилась в глубокую канаву. Было ли им грустно? Почти всегда.

Так прошло много времени. С волос Федора все время падала перхоть на пиджак, и Ната любовно смотрела на его спину. Чай часто пили по ночам, но почти ни о чем не разговаривали.

Ната, надувшись чаю, бродила из угла в угол и пела песню, одну и ту же, надрывно-бессмысленную. Федор ложился спать, прикрывая голову томиком Сведенборга. Он был развит и мог читать не только Сведенборга; но сестра, напротив, была придурковата и читала только по

складам, хотя и любила слушать сказки. И еще она любила смотреть на закаты, только делала она это не как все люди, а одновременно пережевывая какую-нибудь пищу.

Соседи считали их ангелами, поэтому боялись их и прятались по своим щелям. Впрочем, один извращенный тип угодил в Натину голову камнем, хотя она и так была дурна.

Но все проходило.

На Федора иногда нападали периоды дикого оживления: он метался из стороны в сторону, худел и почему-то собирал по помойкам книжки. Но в то же время нередко делал из книг древних философов бумажные кораблики, которые пускал по воде. Редко он тогда Нату брал с собой и стремился вперед, к Господу.

Озираясь на самого себя, повстречал он раз довольно приличную интеллигентную семью Озеровых. Глава семьи, вдовец, Виктор Михайлович, правда, был совсем никудышный: плакал по ночам, платок клал на голову и иногда уходил по рельсам железной дороги совсем Бог знает куда. Но в остальном, кроме крайней, ни к селу, ни к городу, плаксивости, был вполне рационален. Детей своих он созывал к себе, как петух: "Ко... ко... ко..."

Федора привлекала, в основном, старшая дочка — Светлана. Поимел он ее где-то на чердаке, в грязи, так что долго потом не мог отряхнуть член от пыли. У него как раз был период оживленности, и Федор катался со Светой на лодке, читал стихи, думал о смерти. Но потом их роман стал хиреть: Федор даже часто бросал Свету во время прогулок на улице; первое время он из стыдливости останавливал ее где-нибудь на углу с тем, чтобы — по его словам — отойти и помочиться; но вместо этого резво убегал от нее, а она так и оставалась долго ждать его за углом. Потом он бросал ее просто так, прямо и неожиданно, где-нибудь в троллей-

бусе. Светочку это возмущало, но не больше. Она вообще была идеалистка и жила черт знает чем, принимая чайник за глаз Божий.

В конце концов Федя приспособился ходить к ней с сестрой; сестра, как тень, сопровождала его даже на чердак.

Тяжелая тоска мучила Федора. А однажды Света умерла, более прямо: утонула.

Федор пришел представиться по этому случаю родственникам в своем самом лучшем костюме. Виктор Михайлович, который уже начал считать его идиотом и не давал согласия на брак, был поражен дрожью сочувствия в голосе Федора. За общей суматохой, вызванной известием о смерти, это не так бросилось в глаза, но вскоре это целиком заняло умы Светланиных родственников. Федор не отходил от них ни на шаг, как побитая собака; вникал во все хозяйство, связанное с похоронами, и за столом, во время скорбных ужинов, сидел по правую руку от отца Светы. Тут же маялись ее брат Лева и сестра Зоя. Тупые глаза Наты, сидевшей в углу, следили за ними.

А Федор и впрямь полюбил Светлану после смерти; ее исчезновение стало равно ее присутствию.

Он забросил всю жизнь и с воспаленными глазами рассказывал Озеровым о якобы духовных безднах Светочки, нервничал, проливал себе чай на член, и вспоминал, вспоминал ее движения, улыбку уст, боль глаз, которые теперь приобрели неслыханное значение. Виктор Михайлович совсем ошалел от него и предложил ему по знакомству оформить брак с умершей дочерью.

Часто Федя говорил в забитые пухом уши своей сестры (она не любила шумы, так как считала, что они от дьявола), что его высшая мечта обращена назад, и он хотел бы в прошлом умереть вместе со Светой.

Иногда бормотал самому себе, с видимым удовольствием, что это он — вернее, его идеи — довели Светочку до самоубийства; поэтому он считал, что Светлана не просто утонула, а утонула сознательно, как сдают экзамен.

Грустно ему было до невероятности.

"И когда это кончится?" — думал отец Виктор Михайлович спустя три месяца, когда Федор попрежнему бередил раны родных своими заклинаниями, вроде того, что Светочка могла бы быть в будущем кем-нибудь вроде Сведенборга или даже Аполлония Тианского и что во сне она иногда говорила такое, что не смогли бы расшифровать самые тайные мистики, не говоря уже о модных психиатрах.

Он вынудил родных раз в три дня справлять траурный семейный вечер в честь Светочки и воинственно помахивал своим фиктивным, задним числом полученным свидетельством о браке. Он уверял Леву, который был наиболее интеллигентен из оставшихся Озеровых, что Светочка, хотя и говорила в своей земной жизни одни на редкость глупые вещи, но на самом деле в них был запрятан особый, эзотерический смысл, который недоступен даже первосущему. Озеровы от всех этих идей, правда, немного помешались. Лева долго истерично спорил с Федором, возможно ли, чтобы в первосущем не скрывалось то, что обнаружилось в последующем, т.е. в Светочке.

Федор считал, что возможно, так как — по его мнению — в Светлане все эти "странности" являлись проявлением силы, посторонней Творцу.

Лева смущался. А Зоя просто жалела, что Света умерла, вспоминала ее слезы и добрые дела и робко надеялась, что Светлана теперь процветает на том свете.

Федор же гнал самую мысль об антропоморфичности потустороннего и считал, что Света ушла в "ничто" или

превратилась в "анти-существо" настолько уму непостижимое, что и намек на него не может быть выражен на человеческом языке.

Но призрак исчезновения окутал весь их дом. Федор плюнул на все и на радостях переехал вместе с Натой жить к Озеровым. Вскоре он настолько разошелся, что прямо жил этими бесконечными идеями и разговорами и, ложась спать, целовал Светланин портрет.

Так прошел год. Могила Светочки до того была заплевана от непрерывных посещений, что Озеровых оштрафовали. Но Федор продолжал мусолить; и все же Виктор Михайлович торжествующе говорил, что время делает свое верное, кротовое дело, и Федор понемногу забывает Светочку.

– Вот это вполне нормально, – говорил он.

И Федор действительно забывал; то ли у него уже оскудел запас слов и понятий; то ли Света умерла второй раз... Теперь он иногда брал Нату по грибы в лес. Но стал страшно злым и раздражительным, оттого, наверное, что прежнее необычное состояние уходило от него. Да и не понимал Федор, зачем он Нату вечно берет с собой.

"Как можно так привязаться к совершенно ненужной вещи?" – возмущался он перед собой.

И, действительно, Ната была абсолютно никому не нужна, особенно самой себе. Раньше, в детстве она еще задумывалась над своей ненужностью, а теперь и это бросила.

– Забывает Федя Светочку, забывает! – громко и радостно, петухом, кричал Виктор Михайлович.

В глубине своей странной, отзывчивой души он считал, что петухам доступны человеческие понятия.

– Забывает! – говорил он на ночь.

Неизвестно, чем бы кончилась эта история для Федора с уже несуществующей Светочкой, как вдруг, ровно

через год и четыре месяца после ее смерти, в том же пруду утонул Лева – ее брат.

Дело оборачивалось совсем непривычным. Прикорнув, Виктор Михайлович робко грустил у стола; Зоечка вообще не могла ни во что поверить. Федор пропал дня на три. Наконец, он пришел в дом подобранный, строгий, в крепко стянутом, точно петля, галстуке; сначал говорил мало. Больше курил.

Задумывался.

– Люблю Леву, – произнес он прямо в глаза Виктору Михайловичу.

– То есть как любите?! – вздрогнув, ответил Виктор Михайлович. – Я его, например, тоже люблю.

– Во-первых, вы любили, а я люблю. И во-вторых, люблю половым чувством, – проговорил Федор, бросив ряд не то трусливых, не то жутких взглядов на окружающих.

– То есть как половым чувством?! – подпрыгнул Виктор Михайлович. – Я вас вышвырну, молодой человек. Ведь Лева – мужчина.

– Вот, и самое странное именно то, что он – мужчина, а не то, что я люблю мертвого..., – начал Федор.

Но тут Зоечка перебила его... Взвизгнув, она ушла в другую комнату.

– Объясни, Федя, хоть мне, как мужчина мужчине, что это значит, – загрустил Виктор Михайлович.

И тут Федор понес. Чего тут только не было! И то, что в целом мире только Лева понимал его; и апелляция к отцовским чувствам Виктора Михайловича; и то, что брак с мертвой Светочкой был ошибкой ("Вы что, развелись с моей умершей дочерью?!" – кричал Виктор Михайлович); и, разумеется, тайна... А на самом деле Федор очень страдал. Он полюбил Левушку и, существуя в себе, жил его тенью. "Все смешалось в доме" Озеровых, а больше всего в уме Федора.

Теперь он уверял всех домочадцев, что всегда любил Левушку, и тогда, когда говорил о покойной Светланочке, на самом деле подразумевал в явлении еще живого, но в его сознании уже мертвого Леву. Некоторая путаница не мешала всем чувствовать таинственность всего происходящего. Виктор Михайлович, правда, в тиши, под одеялом, признавался самому себе, что уже не различает, кто и когда у него умер. Федор, разумеется, считал, что он довел Леву до бессознательного самоубийства и жалел, что не утонул вместе с ним. Нагнетение чувствовалось во всем.

По ночам с Федором стали происходить странные истории. Надо сказать, что он свою ненужность — сестру-идиотку — клал обычно к себе в постель, чтобы именно ощутить присутствие ненужности и никак не мог отделаться от этой внешне нелепой привычки. Но несмотря на внереальное дыхание Наты около Федорова лица, Лева как будто посещал Федора по ночам. Собственно говоря, ничего Федор не видел, как форма Лева отсутствовал, но происходила какая-то чистая его эманация, и Федор чувствовал в душе содрогание, весь мир пел никем не сочиненные песни и что-то существующее, которое раньше было Левой, мучительно дразнило Федора и вызывало в нем ощущение танца. Он чувствовал и сладость, и боль одновременно, и никак не мог выбраться из их противоположности. И днем тоже носился со своим представлением о Леве, как с нездешней картиной, и в то же время оно казалось болезненно уходящим. И везде были брызги небытия, смерти, смешанные с его воображением и чем-то отделенным от него самого.

В конце концов, Федя заметил, что стал совсем равнодушен к женщинам; напротив, в обществе мужчин он иногда чувствовал нехорошее беспокойство.

А Виктор Михайлович после смерти детей начал вдруг веселеть и меньше плакать. Только в его рациональности

иногда появлялись пугающие провалы.

Так прошло некоторое время.

Федор попрежнему, хоть и остывающе, но оборачивал лицо свое в умершего Леву. Правда, тоска его немного притупилась. Но внутренне он был готов к очень многому.

А месяцев через девять после смерти Левы, Зоя неожиданно для всех ее знавших, утонула. Только не в пруду, а в речке.

На похороны почему-то почти никто не пришел, как будто все знакомые сконфузились. Можно сказать, что были только Виктор Михайлович, Федор и Ната. Возвращались они в обнимку, чуть не лапая друг друга. Ната ничего не понимала в происходящем; однако, теперь она считала ненужной не только себя, но и смерть Зои.

А Виктор Михайлович вдохновенно выдвигал планы, как ему построить для себя – оставшегося в живых – дачку; правда, почему-то он хотел ее сделать со стеклянной крышей или уж вообще без всяких крыш. Он весело размахивал руками в небо.

Один Федор был по-настоящему угрюм. Он с ужасом чувствовал, что уже забывает про Левушку, что все у него опять таинственным образом смещается, и та же любовная история повторяется по отношению к Зоечке. Что он любит ее так же, как любил остальных ушедших. Но теперь уже страшная тоска охватила его.

Листья кружились перед ним, не задевая лица. А он шел вперед не замечая, где он. И единственное, что в нем поднималось: страстное, неизлечимое желание повеситься и вопрос, разрешит ли это то, чем он стал жить.

УДОВЛЕТВОРЮСЬ!

"Что может быть непонятнее и вместе с тем комичнее смерти?! Посудите сами: с одной стороны есть теории, по которым загробная жизнь расписана как по нотам; нет ничего легче, по мнению этих господ, как даже предсказать дальнейшую, на целые эпохи, эволюцию человеческого сознания: как будто речь идет о предсказании погоды; так что же говорить о несчастной загробной жизни – здесь все ясно, как на кладбище; с этой точки зрения – смерть вообще иллюзия, некая шутка природы, и обращать на нее внимание так же нелепо, как суетиться при переходе из одной комнаты в другую.

...Но с другой стороны существует прямо противоположное мнение: после смерти – тотальная и бездонная неизвестность; "смерть есть конец всякого опыта", а предыдущие гипотезы – лишь увеселения земного ума; жить в смерти – это значит жить в отказе от всего, что наполняет сознание. Отсюда смерть, напротив, не шутка природы, а необычайно глубокое явление, требующее серьезной и всепоглощающей прикованности. Как примирить, как примирить эти крайности! Ведь положительно можно сойти с ума, бегая между ними! То туда, то сюда.

Ну, что ж, обратимся к внутреннему опыту. И вот, что интересно: опыт как будто подтверждает обе теории, каждая из них по-своему истинна. С одной стороны, смерть – необычайно серьезна: ну, сами чувствуете по себе, нечего вдаваться в подробности. Иногда кажется, что это действительно непостижимая бездна. Но напротив, напротив! Если приглядеться вдумчивей, то нельзя не заметить в смерти весьма дикую анекдотичность.

Ну, во-первых, сама быстрота свершения и ничтожность причин, ее вызвавших. Посудите сами, можно ли всерьез относиться к явлению, причинами которого были укус вши или обида от плевка в лицо? А мгновенность, мгновенность! Иные ведь умирают, даже совокупиться не успев!! Для крупного события такая быстрота просто неприлична.

Добавлю еще патологическую случайность и анекдотичность обстановки! Мой сосед, например, умер объевшись холодцом.

Нет, что ни говорите, а великие события так не совершаются. Словно здесь иллюзия, шуточка, некое механическое сбрасывание видимой оболочки, вроде шубы, с невидимого здесь существа – и ничего больше. Но все же ведь чувствуется и трагизм, и бездна, посмотрите на лицо мертвеца, потом отсутствие памяти и т. д. Почему нельзя предположить, что тут связаны две крайности... Ведь от великого до смешного один шаг".

Эти строки из своего дневника читал низенький, одухотворенный человек в глубине притемненной комнаты. По углам стояла тишина. А вокруг человечка – его звали Толя – сгрудилось несколько полувзъерошенных, внимательно слушающих его молодых людей. Одна девица лежала на полу. Видно, это чтение было лишь продолжением долгого и истерического радения о смерти. Обстановка была до

сверхреальности тяжела и напряженна, словно все демоны подсознания сорвались с цепи, сбросив земные оковы. Казалось, невозможное даже в мыслях вдруг воплощалось и приобретало тотальное значение. И от этого нельзя было уйти.

— Удовлетворюсь, удовлетворюсь! — вдруг взвизгнул один худенький, с как бы даже думающей задницей, слушатель. Его глаза были в слезах. — Не могу я больше!

Слушателя звали Аполлон. Дело было на даче, в глуши, ранним утром. Аполлон еще раз, точно уносясь вдаль, взвизгнул и, опрокинув бутылку с водкой, выбежал из комнаты. Откуда-то донесся его вопль: "Не могу ждать, не могу ждать!!! ...Что же там будет?! ...Не могу терпеть... Хуже всего неизвестность!"

— Повесился! — завопила его подруга Люда, которая после некоего ауканья вошла туда, куда забежал Апоша.

Все переполошились, как перед фактом. Толя спрятал свой дневник, чтобы его не разорвали. Другой мистик — Конецкий — встал на четвереньки.

Ребята ходили вокруг трупа Аполлона, как трансцендентные коты вокруг непонятно-земной кучки кала. Владимир захохотал. Совершать адекватные действия было как-то ни к чему. Все молчали, охлажденные. Анатолий отворил окно в открытый мир. Труп, снятый, лежал на полу.

— Вот она, анекдотичность, — думал, вставший с четверенек Конецкий, — но где же непостижимость?!

В это время раздалось ласково-приглушенное хихиканье: это тонко-белотелая девочка Лиза, самая юная любительница смерти, поползла к трупу. У Лизы было ясное, в смысле непонятности, лицо, оскаленные зубки, которые были словно не ее, и глаза, которые останавливались на тумбочке, как на себе.

Нервно подергиваясь всем телом, точно она совокуплялась с полом, ставшим личностью, она подползла совсем близко к Аполлону.

"Сейчас Аполлон закричит, – подумал Конецкий, – ведь он так не любил Лизу".

Но Лизанька вместо того, чтобы укусить труп, как предполагали мистики, вдруг перевернулась и легла на покойного, как на некий тюфяк, спиной вниз и, повернув лицо в окно, в бездонную глубь неба, заулыбалась, точно увидела там Сатану.

Люда вскрикнула.

Делать было положительно нечего, но в уме мрак сгущался. Толя перепрятал дневник. Владимир принес водку, и все расселись вокруг трупа, как вокруг костра.

"Не забуду Аполлона", – подумала Люда. Но мысли застывали, словно они были точками в раскинутом по всему пространству сдавленном ожидании.

Лизанька, лежа на покойном, поигрывала белыми пальчиками.

– Уж не хочешь ли ты нам отдаться на нем? – спросил откуда-то появившийся Иннокентий.

Но Лизанька была не из отдающихся. Она отдавалась только трупам, существующим в ее уме.

По полу пробежал ручной ежик. Все разлили водку. Лизанька вдруг встала.

– Я знаю, что делать: надо идти до конца, – вдруг сказала она, посмотрев в стену так, будто она упиралась ей в лоб.

– До конца, до конца, ребята, – заплакала Люда. – Лучше нам всем повеситься... Надо сейчас, сейчас, вместе с Аполлоном, перейти грань... Чего тянуть кота за хвост?! ...Пусть будет, что будет: лишь бы ощутить эту неизвест-

ность ...Ведь нужно только одно движение, одно движение... слабой руки...

— Мало ты смыслишь в мистике, — сурово оборвал ее Иннокентий, которого все любили за его теплое отношение к аду.

Он медленно поглядел в сторону Лизы, и глаза его почему-то налились сухой кровию. Затем пошептавшись с Сухаревым, с самым плотным парнем, он, улыбаясь, вывел всех — кроме Сухарева и Лизы — из комнаты трупа.

И тут началось что-то несусветное. Точно ожидание разрядилось в новую еще более чудовищную форму ожидания. Лизанька то и дело выскакивала из трупной комнаты к ребятам, всех целовала, и хихикала в плечо Конецкому. А остальные, сгрудившись в маленькой комнатушке, бредили, вдруг почувствовав, что все кончено, и что теперь можно обнажиться до конца. Они точно целовали свою будущую смерть, выпятив залитые потом глаза и чмокая таинственную пустоту. Пыльная девица — Таня — опять упала на пол.

Иннокентий тоже выходил к приятелям; он надел почему-то кухонный фартук, и, в бороде, с длинно-скуластым, как у святых убийц, лицом, выглядел пугающе и наставительно.

Толстяк Сухарев неопределенно вертелся в трупной комнате. Лизанька что-то нашептывала ему в ухо, точно к чему-то подготовляя. А Иннокентий создал такую атмосферу, что направил умы всех не на их собственную смерть, а на какой-то другой конец. Поэтому мольба Людочки о тотальном повешеньи как бы повисла в воздухе. Только Таня принесла из чулана, сама поймав, испачкавшись в одержимости, нескольких крыс, которых повесила за хвосты перед окном в сад. Все истомились от непонятности. Но в трупной комнате шло какое-то непонятное приготовление.

Хлопали дверьми, чем-то пахло. Надо было как-то разрядиться. Несколько раз Людочку вынимали из петли.

Но скоро ребята, благодаря тщательной воле улыбающегося Иннокентия, стали понемногу понимать в чем дело. Точно среди общей одержимости и безумия мыслей, упирающихся в неизвестность, стали появляться какие-то обратные, рациональные ходы, возвращающие к земной действительности, но уже на мистическом и юродивом уровне.

Все бегали, надрывно думая о будущем после смерти и истерически пытали представить себе ее; от этого вены вздувались, а в глазах вместо секса было вращение душ.

— Завтрак готов! — громогласно объявил Иннокентий, распахнув дверь в комнату трупа.

Его шизофренно-потустороннее лицо сияло доброй и освежающей улыбкой. Домашний фартук был весь в крови, а нож обращен в пол. Его друзья и так были приведены к такому исходу. Кто-то облегченно вздохнул: не надо вешаться. И тут же заикал, подумав о смерти. Танечка облобызала Иннокентия в по-черному ощеренный рот; "ты наш спаситель, Инна", — пробормотала она.

Лизанька была королева завтрака. Лицо ее прояснилось, словно сквозь непонятность проглядывали удавы; вся в пятнах — глаза в слезно-возвышенной моче — она колдовала вокруг нескольких огромных сковородок, где было изжарено отчлененное мясо Аполлона.

— Сколько много добра, — тупо подумал Владимир.

Все хихикали, чуть не прыгая на стены. Именно такой им представлялась загробная жизнь. Они уже чувствовали себя на том свете.

Первый кусок должна была проглотить Лизанька. Поюлив вокруг сковородки, как вокруг интимного зеркала, она вилкой оголенно-радостно взяла кусок. Иннокентий

остановил ее, подняв руку, чтобы произнести речь. Кусок, на вилке в руке, так и остановился около дамски-нервного полураскрытого ротика Лизаньки.

— Прежде чем есть, думайте о том свете, — сурово проговорил Иннокентий. — Думайте напряженно, когда будете пережевывать. И не забывайте о душе Аполлона.

— Да, да, — вдруг сразу войдя в положение, заюлил Конецкий, — от мыслей, направленных в непостижимое, душа будет выходить вон, а Апошино мясо в животе будет смрадно впитываться... Произойдет раздвоение.

— Тсс! — перебили его.

Лизанька, прикрыв глазки, пережевывала мясцо. Пухлые щечки ее вздувались, и она ела с таким аппетитом, точно всасывала нездешние слезы. Румянец нежного ада горел на ее лице. А в глазах пылал неслыханный интеллектуализм. Поцеловав свое обнаженное колено, она вдруг с жадностью набросилась на остальную еду.

Скоро, несмотря на тихий восход солнца и трепет утренних трав, все пожирали Аполлоново тело. Мясцо хрустело в зубах, и все усиленно думали, так что от остановившихся на непостижимом мыслях стоял неслышно-потусторонний треск. Казалось, весь загробный мир навис над комнатой и над жующими людьми. Сухарев даже не мог пощекотать оголенную Танину ляжку. Толя припал к сковородке, лежа на полу.

Но вдруг на дворе закукарекал неизвестно откуда взявшийся дикий петух.

СОДЕРЖАНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВОМ
ТРЕТЬЯ ВОЛНА

в 1976–1982 гг. опубликованы следующие книги:

Евгений Кропивницкий. Печально улыбнуться. Стихи. 2.00
Александр Глезер. Ностальгия. Стихи 3.00
Михаил Хейфец. Место и время (Еврейские заметки) 5.00
Анатолий Гладилин. Репетиция в пятницу. Повесть и рассказы . . . 6.00
Генрих Сапгир. Сонеты на рубашках. Стихи 3.00
Игорь Бурихин. Мой дом – слово. Стихи 2.00
Владимир Марамзин. Смешнее чем прежде. Рассказы и повести . . 6.00
Александр Глезер. Человек с двойным дном (Книга воспоминаний) 15.00
Борис Бажанов. Воспоминания бывшего секретаря Сталина . . 15.00
Александр Глезер. Неверный март. Стихи 2.00
Юрий Мамлеев. Изнанка Гогена. Рассказы 6.00
"Третья волна". Альманах литературы и искусства (иллюстрированный) . . . .
№1, 1976 . . . . 4.00
№2, 1977 . . . . 5.00
№3-4, 1978 . . . . 6.00
№5, 1979 . . . . 4.00
№6, 1979 . . . . 5.00
№7-8, 1979 . . . . 6.00
№9, 1980 . . . . 5.00
№10, 1980 . . . . 5.00
№11, 1981 . . . . 5.00
№12, 1982 . . . . 6.00

Цены указаны в американских долларах
Стоимость пересылки – 1 доллар
Заказы направлять по адресу:

Alexander Glezer
286 Barrow Street
Jersey City, N.J. 07302
Tel: (201) 434-0378

